

Леонид Соболев

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ





Леонид Соболев

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ


Леонид Соболев



КНИГА 43

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Повесть

Художник
О. А. Литвинов

Одесса
«Маяк»
1987

ББК 84Р7-4
С54

Послесловие П. А. Дегтярева

Печатается по изданию: Соболев Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худож. лит., 1973. Т. 3.

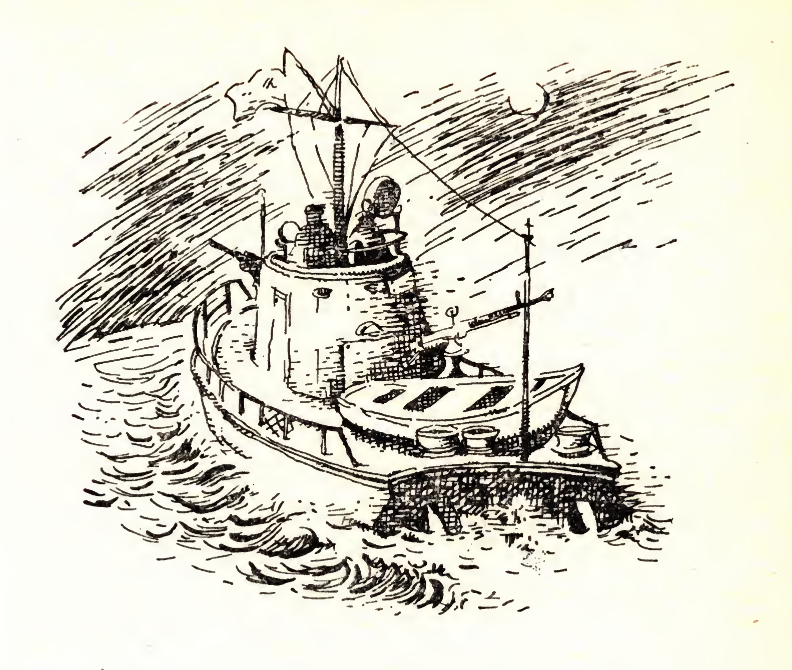
Соболев Л. С.

С54 Зеленый луч: Повесть / Послесл. П. А. Дегтярева; Худож. О. А. Литвинов.— Одесса: Маяк, 1987.— 168 с., [4] л. ил., 1 портр.— (Мор. б-ка; Кн. 43).

В повести известного советского писателя рассказывается о подвиге моряков-черноморцев в годы Великой Отечественной войны. В центре повествования — образ молодого командира Алексея Решетникова, характер которого формируется в суровых испытаниях, раздумьях о долге и человеческом счастье.

С $\frac{4702010200-008}{М217(04)-87}$ 46.87

ББК 84Р7—4
Р2



Глава 1

Неизменному другу — О. И.

Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

На кавказском побережье стояла ранняя весна, но в море ее сейчас не чувствовалось: солнце, опускавшееся к горизонту, уже не согревало воздуха, отчего встречный ветерок был почти холодным. Море медленно вздыхало длинной зыбью вчерашнего шторма, и шедший под всеми тремя моторами катер свободно ее обгонял. Пологая ленивая волна, вспоротая форштевнем, плавно проносилась вдоль бортов, едва успевая накренить уходящий от нее кораблик, а за кормой, где винты подхватывали ее, мяли и вскидывали, она вставала высоким пенящимся буруном, и казалось, что именно здесь, в бурлении растревоженной воды, и рождается то низкое, мощное рычание, которым сопровождался стремительный ход катера.

Нет лучшей музыки для командирского уха, чем этот уверенный голос боевого корабля. Сильное и красивое трезвучие моторов, ясно различимое сквозь пальбу выхлопных газов, успокоительно докладывает, что катер в порядке и что достаточно

малейшего движения руля, чтобы вовремя отвернуть от плавающей мины, внезапно высунувшей из воды свою круглую черную плешь, или от бомбы, мелькнувшей под крылом пикирующего на катер самолета. Поэтому у лейтенанта Алексея Решетникова было отличное настроение.

Упершись правым боком в поручни так, чтобы одновременно видеть и компас и море перед собой, он неподвижно стоял на мостике, занимая своей командирской особой добрую его треть: мостик был крохотный, а овчинный тулуп, в котором лейтенант весь исчезал с головой, огромный. От бешеного вращения гребных винтов все на мостике ходило ходуном: упруго вибрировала палуба, дрожали стойки поручней, мелко тряслась картушка компаса, щелкали по парусине обвеса туго обтянутые сигнальные фалы, и деревянным стуком отзывались блоки на рее невысокой мачты,— а лейтенантский тулуп неколебимо высился неким символом спокойствия и непреклонной настойчивости, то есть тех человеческих качеств, которым на командирском мостике как раз самое место. Рядом, совершенно прикрывая маленький штурвал широкими рукавами, недвижно стоял второй тулуп, в недрах которого был упрятан рулевой, а на баке, у носового орудия, таким же монументом застыл третий. Крупные брызги, срывавшиеся порой с высокого султана пены под форштевнем, с треском окатывали его, но, не в силах пробить плотную светлую кожу, сбегали по ней быстрыми темнеющими дорожками. Это лучше всего доказывало, что прозвище «дворники», которое навлек на свою команду лейтенант Решетников, было вызвано прямой завистью других командиров, не догадавшихся вовремя ухватить в порту эти «индивидуальные ходовые рубки», как называл он свою выдумку.

Командирский тулуп пошевелился, и из косматой овчины воротника выглянуло обветренное, неожиданно молодое и несколько курносое лицо. Живые серые глаза, прищурясь, быстро и требовательно окинули небо и горизонт, потом так же быстро и требовательно обвели весь катер с носа до кормы, заставив этим всю овчинную рубку повернуться с несвойственным постовому тулупу проворством.

Отсюда, с мостика, катер был виден весь — крохотный кусок дерева и металла, затерянный в пустынном просторе огромного моря. Однако при взгляде на него этой малости не чувствовалось: настолько точны и соразмерны были пропорции его стройного корпуса, мачты, рубки, мостика и вооружения.

Чистые, мытые-перемытые солеными волнами доски палубы сияли влажной желтизной, и люки, ведущие в машинное отделение и в кают-компанию, темнели резко очерченными квадратами. Черные пулеметы, воинственно задрав в небо свои стволы

с дырчатыми кожухами (которые делали их похожими на какие-то странные музыкальные инструменты), поблескивали маслом и вороненой сталью. За ними, упористо вцепившись в палубу серо-голубой конической тумбой, сверкало медью и никелем приборов кормовое орудие, нарядное и изящное, а возле, в металлическом ящике, крышка которого была многозначительно откинута, ровными золотыми сотами сияли медные донышки снарядных гильз. Рядом выстроились вдоль поручней гладкие темные цилиндры глубинных бомб малого размера. Больших нынче на катере не было: вместо них на корме неуклюже — наискось — расположилась пассажирка-шестерка. И оттого, что обыкновенная шлюпка никак не помещалась по ширине катера между поручнями, становилось понятно, что в люки с трудом может пролезть тепло одетый человек, что кормовое орудие больше похоже на пистолет, установленный на тумбе, что от борта до борта каких-нибудь пять-шесть шагов и что весь этот грозный боевой корабль с его орудиями, пулеметами, глубинными бомбами всего-навсего маленький катерок, искусно придуманная оболочка для его могучего сердца — трех сильных моторов.

Шестерка была для катера элементом чужеродным. Ее взяли на поход, чтобы выполнить ту операцию, для которой «СК 0944» шел к берегу, занятому противником.

Неделю назад там, в укромной бухточке, пропала такая же шлюпка, на которой катер «0874» высаживал разведчиков. Старший лейтенант Сомов прождал ее возвращения до рассвета и был вынужден уйти, так и не узнав, что́ случилось с шестеркой или с теми двумя матросами, которые должны были привести ее с берега после высадки группы.

При тайных ночных высадках бывали всякие неожиданности. Порой в том месте, где не раз уже удавалось провести такую скрытную операцию, появлялись немцы: подпустив шлюпку к берегу вплотную, они встречали ее гранатами и пулеметным огнем, а иногда, наоборот, дав ей спокойно закончить высадку и отойти подальше от берега, обрушивались на разведчиков, не позволяя и шлюпке вернуться за ними. Порой в камнях поджидала мина, и тогда огненный столб вставал над темным морем мгновенным светящимся памятником, и моряки на катере молча снимали фуражки. Но на этот раз с катера «0874» не видели ни стрельбы, ни взрыва, а шестерка не вернулась.

Конечно, бывало и так, что в свежую погоду шлюпку при высадке разбивало о камни или выкидывало на берег. Тогда ее топили у берега, и гребцы уходили в тыл врага вместе с теми, кого привезли, не имея возможности сообщить об этом на

катер, ибо всякий сигнал мог погубить дело. Но в ту ночь, когда старший лейтенант Сомов потерял шестерку, море было спокойно.

Так или иначе, шлюпка к катеру не вернулась, и было совершенно неизвестно, что стало с ней и с людьми: сообщить о себе по радио группа по условиям задания не могла, а ждать, пока кто-либо из нее проберется через фронт и расскажет, что случилось с шестеркой, было нельзя. Между тем через неделю обстановка потребовала высадить там же еще одну группу разведчиков с другим важным заданием. И так как прямых признаков невозможности операции не было, лейтенанту Решетникову было приказано попытаться сделать это, более того — произвести обратную посадку разведчиков на катер.

Если бы было возможно, лейтенант предпочел бы пойти на шестерке сам: как известно, много легче разобраться на месте самому, чем объяснять другим, что делать в том или ином случае. Но оставить катер он, конечно, не мог, и ему пришлось лишь поручить это дело тем, кому он верил, как самому себе. Из охо́тников, вызвавшихся гребцами на шестерку, он выбрал боцмана Хазова и рулевого Артюшина. Артюшин отличался крепкими мышцами и греб за троих, кроме того, был парнем смелым и сообразительным. Боцман же еще до вступления лейтенанта Решетникова в командование катером спас однажды шлюпку и людей в таком же подозрительном случае. Тогда было предположение, что немцы готовят встречу, и Хазов, остерегаясь неприятностей, стал подводить шлюпку к берегу не носом, а кормой, чтобы в случае чего отскочить в море. Так оно и вышло. Шестерка уже коснулась кормой песка, когда между ногами боцмана, ударив его по коленке, упала шипящая граната. Он тотчас схватил ее за длинную деревянную ручку и, не вставая, с силой перекинул через голову обратно на берег. Она взорвалась там; вслед за ней в кусты полетели гранаты разведчиков, Хазов крикнул: «Навались!» — и шлюпка помчалась обратно к катеру под стук автомата, которым боцман поливал негостеприимные кусты.

Судя по неодобрительному виду, с каким Решетников разглядывал шестерку, она продолжала занимать его мысли. Один раз он брал уже с собой в операцию такую большую шлюпку, и с ней пришлось порядком повозиться. Вести ее на буксире было нельзя: тяжелая и пузатая, она заставила бы катер тащиться на малых оборотах (на большом ходу буксир рвался). Поэтому, поминая ее несуществующих родственников, шестерку взбодрили на палубу, поставив на стеллажи глубинных бомб — единственное место, где она кое-как, криво и косо, поместилась. Спускать же ее отсюда ночью, под носом у вра-

гов, оказалось занятием хлопотливым: с высоких стеллажей она сползла под слишком большим углом, вернее, воткнулась в море, как ложка в борщ, и корма, не в силах свободно всплыть, зачерпнула так, что воду пришлось отливать ведром добрые полчаса, чем в непосредственной близости от захваченного противником берега заниматься было вовсе не интересно. Но тогда катер доставлял партизан в другое, сравнительно спокойное место, а нынче...

Некоторое время лейтенант Решетников, поджимая губы, посматривал на шестерку. Потом с той быстротой движений, которая, очевидно, была свойственна его натуре, вытащил из кармана свисток, дважды коротко свистнул, после чего принял прежнюю позу с видом человека, который твердо знает, что приглашения повторять не придется.

И точно, боцман без задержки появился у мостика.

Вероятно, он был тут же, на палубе, потому что аккуратно подтянутый поясом клеенчатый его реглан поблескивал от брызг, а наушники меховой шапки были опущены. Мостик, как сказано, был очень невысоким, и боцман, не поднимаясь на него, просто остановился на палубе возле командира, выжидательно подняв к нему лицо. Покрасневшее от ветра, спокойное и серьезное, с правильными, несколько грубоватыми чертами, оно было почти красивым, но не очень приветливым. Казалось, какая-то тень задумчивости или рассеянности лежала на нем, будто Хазов постоянно чувствовал внутри себя что-то неотвязное и, наверно, невеселое, чего не могли отогнать даже забавлявшие весь катер шутки признанного заводиловки — рулевого Артюшина (того самого, кто сейчас был упрятан в тулуп у штурвала). Неразговорчивость боцмана, видимо, была хорошо известна командиру, и поэтому он, не ожидая официального вопроса, наклонился с мостика, перекрикивая гул моторов.

— А что, если к транцу пояса подвязать, штук пять? Пожалуй, не черпнет?

Хазов повернулся к шестерке, и лейтенант с беспокойством увидел, что левая его рука потянулась к щеке. Ладонь дважды медленно прошлась по чисто выбритой коже в недоверчивом раздумье, потом крепкие пальцы стиснули подбородок, и глаза боцмана, устремленные на корму, прищурились. Решетников в нетерпении переступил с ноги на ногу, всколыхнув тулуп, а Артюшин улыбнулся в компас, ожидая, что боцман скажет сейчас сожалеюще, но твердо: «Не получится, товарищ лейтенант», и тогда начнется содержательный разговор, который поможет скоротать скучную мирную вахту.

Но спектакль не состоялся: боцман отпустил подбородок и ответил:

— Лучше под киль возьмем. Выше держать будет.

Теперь к шлюпке повернулся Решетников. Он тоже прищурился, оценивая боцманскую поправку.

Собственный его проект был основан на том, что пробку, как известно, загнать в воду трудно: если к корме шестерки — транцу — привязать спасательные пояса, то при спуске они будут держать корму на плаву, не давая шлюпке черпать воду, пока нос ее не сползет с катера. Но, конечно, пропустить пояса под килем у кормы, как предложил боцман, было проще и правильнее.

— Добро́,— сказал лейтенант, кивнув головой.

На этом разговор, краткость которого была обусловлена сразу тремя причинами — характером боцмана, гулом моторов и полным взаимопониманием собеседников, закончился. Решетников посмотрел на часы.

— Однако надо и поужинать, пока все нормально,— сказал он.— Вахтенный! Лейтенанта Михеева на мостик!

И он снова спрятался в тулуп. Высунувшись из него для очередного обследования горизонта, лейтенант с удивлением заметил, что боцман по-прежнему стоит на палубе.

— Шли бы ужинать, Никита Петрович,— окликнул его Решетников.— Намерзнетесь еще на шлюпке.

— Красота большая,— отозвался Хазов, задумчиво глядя перед собой.

Решетников повернулся к левому борту, и вечернее небо, которого он почему-то до сих пор не замечал, развернуло перед его глазами все властное свое великолепие.

Над спокойно вздыхающим морем низко висело огромное, уже приплюснутое солнце. Выше тянулось по небу облако, длинной и узкой чертой разделявшее воздушный простор на два туго натянутых полотнища прозрачного шелка: нижнее пылало ровным желтоватым пламенем, верхнее поражало взгляд бледнеющей синевой, чистой и свежей. По ней веером расходились ввысь летучие перистые облака, легкие, как сонное мечтание; они еще блистали белизной, но мягкий розовый отсвет заката уже тронул снизу их сквозные края, обещая фантастическую игру красок. И когда с тревожного зарева над морем взгляд переходил на эту вольную синеву, дышать как будто становилось легче и начинало казаться, что в мире нет ни войны, ни горя, ни смертей, ни ненависти и что впереди ждет только удача, счастье и покой.

Сперва Решетников просто рассматривал закат, удивляясь, как это он не заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под низкий, мощный гул моторов, торжественный, как

органный аккорд. Он и сам не мог бы пересказать их, как не может человек выразить словами мягкой предсонной грезы, где видения вспыхивают и гаснут, возникая на миг, чтобы тут же смениться другими. Выставив ветру лицо и всем телом ощущая через поручни могучую дрожь катера, он наслаждался быстрым ходом, морем и закатом, прислушиваясь к тому непонятному, но сильному и прекрасному чувству, которое росло в нем, заставляя невольно улыбаться, и которому трудно подыскать название. Может быть, это было просто счастьем.

Счастьем?..

Что можно говорить о счастье на этом катере, который идет в пустынном военном море, где смерть поджидает в каждой волне и каждой тучке, когда с каждым пройденным им кабельтовым бомба, снаряд или пуля уносят в разных местах земного шара по крайней мере десять человеческих жизней, когда с каждой каплей бензина, врывающейся в карбюраторы его моторов, падает где-то в море скорбная человеческая слеза — на письмо, на пожарище родного дома, на корку хлеба, к которой тянется голодный ребенок? Да и существует ли еще на каком-нибудь человеческом языке это заветное слово, самое звучание которого радует душу?.. Полно! Нет его в мире, где страшная сила войны выпущена на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит и разрушает.

На мостике появился лейтенант Михеев, помощник командира катера. Скинув тулуп и с удовольствием расправляя плечи, Решетников коротко передал ему вахту, но, сойдя с мостика, не пошел вниз, а остановился возле машинного люка лицом к закату.

Солнце уже коснулось воды, и сияющая полоса, проложенная им на море, начала розоветь. Огромный земной шар, переполненный горем и ненавистью, поворачивался, и вместе с ним откатывалось от лучей солнца Черное море. Маленький, крошечный катер, настойчиво гудя моторами, карабкался по выпуклости Земли, упрямо догоняя солнце, заваливающееся за горизонт. И тот, кто командовал этим катером, лейтенант Алексей Решетников, вовсе не думал сейчас о том, что такое счастье и может ли оно быть в человеческом сердце, стиснутом равнодушной рукой войны. Он просто любовался закатом и испытывал то внутреннее удовлетворение, которое приходит к человеку лишь тогда, когда весь внутренний мир его находится в полной уравновешенности (и которое, может быть, и следует называть счастьем). И хотя катер шел в опасную ночную операцию и мысль об этом, казалось, должна была волновать лейтенанта, он с видимым любопытством и ожиданием всматривался в раскаленный диск, уже безопасный для взгляда.

В великой неудержимости планетного хода солнце расплющенной алой массой проваливалось в воду все быстрей и быстрей, непрерывно меняя очертания. Из диска оно стало овалом, потом пылающей огромной горой, затем растеклось по краю горизонта дрожащей огненной долиной.

Решетников быстро обернулся, ища взглядом Хазова.

— Никита Петрович, не прозевайте! — торопливо сказал он, снова поворачиваясь к закату.— Нынче будет, вот увидите, будет!

Что-то мальчишеское было и в этом восклицании и в том нетерпеливом движении, каким он весь подался вперед, как бы готовясь получше рассмотреть то, что должно было произойти. С мостика донеслась команда лейтенанта Михеева: «На флаг, смирно!» Решетников выпрямился, отступил к борту лицом к середине корабля, как и полагается стоять при спуске флага, но глаза его по-прежнему неотрывно следили за уходящим солнцем. Затаив дыхание, он подстерегал тот миг, когда верхний край его окончательно уйдет в воду и оттуда, быть может, вырвется тот удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет, более яркий, чем зелень весенней травы или изумруда, и который появляется так редко, что моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удается поймать то кратчайшее мгновение, когда вспыхивает над морем знаменитый зеленый луч, ослепительный, как само счастье, и памятный на всю жизнь, как оно.

Жидкое пламя, бушевавшее в огненной долине, вдруг с необычайной стремительностью начало стекаться с краев к середине, и через миг все стянулось в одну алую точку, маленькую и яркую, как огонь сильного маяка. Секунду-две она, мерцая и вздрагивая, сияла на самом крае воды, потом внезапно исчезла, блеснув на прощание еще меньшей точкой очень яркого и чистого зеленого цвета, и в тот же момент лейтенант Михеев скомандовал:

— Флаг спустить!

Крохотный кормовой флаг пополз вниз с гафеля невысокой мачты. Приложив руку к ушанке, Решетников проводил его взглядом и, потеряв сразу всякий интерес к тому, что происходит на небе, пошел на корму. Возле правого пулемета стоял Хазов, по-прежнему задумчиво смотря на закат.

— Ничего, Никита Петрович, когда-нибудь мы его все-таки поймаем,— сказал лейтенант утешающим тоном, как будто именно боцман, а не он сам с таким нетерпением ожидал сейчас появления зеленого луча.— Пошли ужинать, в самом деле...

— Поспею, товарищ лейтенант.— ответил Хазов.— Пока светло, пояса под шестерку подведу.

Решетников кивнул головой и, задержавшись у кормового люка, чтобы в последний раз окинуть горизонт все тем же быстрым и требовательным командирским взглядом, нырнул вниз.

Длинное узкое облако, висевшее над местом, куда ушло солнце, стало уже темно-красным. Раскалившее его пламя, вырывающееся из-за края воды, поднималось теперь ввысь, и сквозные края легких перистых вееров, раскинутых там и здесь по бледнеющей синеве небосвода, тоже занялись огнем. Все выше забиралось к зениту пылающее зарево, покуда его не начала оттеснять густеющая фиолетовая мгла, собравшаяся в темной части горизонта.

Над Черным морем спускалась ночь. Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

Глава 2

Лейтенант Решетников только что вступил в тот счастливый период флотской службы, который бывает в жизни военного моряка лишь однажды: когда он впервые получает в командование корабль.

Это не забывается, как не забывается первый вылет, первый бой и первая любовь. Сколько бы раз ни привелось потом моряку стоять на других мостиках, какие бы огромные корабли ни водил он потом в дальние походы, даже тяжкая громада линкора не сможет заслонить в его сердце тот маленький кораблик, где в первый раз испытал он гордое, тревожное и радостное доверие к самому себе, поняв, наконец, вполне, всем существом, что он — командир корабля.

Это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство приходит не сразу. Путь к нему лежит через мучительные, тяжелые порой переживания. Тут и боязнь ответственности, и опасный хмель власти, и неуверенность в себе, и борьба с самолюбием, и неудержимое желание найти советчика и учителя. Тут и долгие бессонные ночи, полные тревоги за корабль и отчаяния перед собственной неумелостью, ночи, когда мозг горит и в мыслях теснятся цифры и фамилии, снаряды и капуста, механизмы и человеческие судьбы — весь тот клокочущий водоворот трудно соединимых понятий, привести который в систему и направить не мешающими друг другу потоками в мерном течении нормальной службы корабля может только его командир — тот, кто из людей и машин способен создать единый, послушный своей воле организм, чтобы иметь возможность управлять им в любой момент боя или шторма.

Лейтенант Решетников и сам не сумел бы сказать, когда именно он поверил в себя как в командира.

Получилось так, что это особенное **командирское** чувство сложилось в нем незаметно: из тысячи мелких и крупных событий, догадок, поступков, удач и ошибок. То, что мучило вчера, сегодня оказывалось будничной мелочью; то, что всякий раз требовало значительного напряжения воли и мысли, вдруг выходило само собой, автоматически освобождая мозг для решения более сложных задач. Так, подходя однажды к стенке, он с удивлением заметил, что застопорил моторы и скомандовал руля как раз вовремя, хотя все мысли его были заняты совсем другим — как разместить на катере десантников. И с этого дня он перестал готовиться «постом и молитвой» к каждой швартовке, которая обычно заставляла его еще за пять миль до бухты мучиться в поисках той проклятой точки, где следует уменьшить ход, чтобы не врезаться в стенку или, наоборот, не остановиться дурак дураком в десяти метрах от нее. Первое время, подобно этому, он перед каждым походом заранее его «переживал», то есть старался предугадать свои действия в мельчайших подробностях, и проводил в этой бесполезной и утомительной игре воображения бессонную ночь, пока не научился выходить в море, выспавшись на совесть и приведя себя в полную готовность ко всяким внезапным изменениям обстановки.

Конечно, еще недавно он вряд ли смог бы любоваться на таком походе закатом и с любопытством ждать зеленого луча. Вероятно, он в сотый раз перебирал бы в уме, все ли сделал для того, чтобы обеспечить скрытность высадки, бегал бы в рубку к карте, дергал бы боцмана вопросами: не забыл ли тот о гранатах и взял ли в шестерку шлюпочный компас,— словом, проявлял бы ту ненужную суетливость, которую лишь неопытный командир может считать распорядительностью и которая, по существу, только раздражает людей.

Эту спокойную — командирскую — уверенность лейтенант Решетников ощущал в себе не так давно: пятый или шестой боевой поход. До этого он добрых полтора месяца жил в непрерывных сомнениях и сам уже был не рад тому, что страстная его мечта — командовать боевым катером — исполнилась. В самом деле, когда он очутился на «СК 0944» полновластным командиром, ему было неполных двадцать два года и немногим больше года службы. Да и из него Решетников восемь месяцев командовал зенитной батареей крейсера под опекой сразу трех опытных командиров — артиллериста, старпома и командира крейсера, что не очень-то, конечно, приучило его к самостоятельности действий. Правда, в тот единственный раз, когда

ему пришлось остаться без их поддержки, он развернулся так решительно и смело, что именно этот случай и привел его к командованию катером.

В августе крейсер ходил на стрельбу по немецким укреплениям, и лейтенант Решетников с пятью моряками благополучно высадился ночью на «малую землю» у переднего края, прекрасно провел корректировку с высоты 206,5, сообщил по радио, что спускается к шлюпке, после чего пропал. Крейсер, прождав свою шлюпку до рассвета, был вынужден уйти и уже в море принял радио от Решетникова: пробираясь к шлюпке, группа оказалась отрезанной от берега автоматчиками противника и с боем отошла к своим частям. В ответ Решетников получил приказание добираться до корабля самостоятельно ближайшей оказией, что он и выполнил, явившись через неделю на крейсер с перевязанной рукой и не по форме одетым — в краснофлотском бушлате без нашивок.

И тогда выяснилось, что лейтенант Решетников, «следуя на «СК 0519» в качестве пассажира, в критический момент боя с пикировщиками противника принял на себя командование катером взамен убитого старшего лейтенанта Смирнова и довел до базы катер и конвоируемый им транспорт, проявив при этом личную инициативу и мужество».

Именно в таких суховатых и сдержанных, как обычно, словах было изложено в наградном листе событие, заставившее лейтенанта Решетникова серьезно задуматься над дальнейшим прохождением службы и начать проситься на катера, изменив крейсеру и превосходной его артиллерии, которая раньше казалась ему самым подходящим в жизни делом. По этому документу трудно понять, что́ именно вызвало в нем такое настойчивое желание, ибо здесь опущены многие детали события, в частности, нет ни слова о том, почему же лейтенант вернулся на крейсер не в своей шинели, а в матросском бушлате.

Когда «СК 0519», приняв на борт корректировщиков, отошел от «малой земли», шинель лейтенанта Решетникова была еще в полном порядке, если не считать серых пятен от удивительно въедливой грязи, по которой ему пришлось отползать от автоматчиков, и двух дырок в поле́, проделанных их очередями. Шинель была цела и утром, когда он стоял на палубе возле рубки, наблюдая стрельбу катера по самолетам, два из которых шли на конвоируемый транспорт, а третий — на самый катер. Но когда этот третий спикировал и «СК 0519», резко отвернув на полном ходу, метнулся в сторону от свистнувших в воздухе бомб и когда одновременно с горячим ударом взрывной волны застучали по рубке пули и в ней тотчас что-то зашипело, затрещало и густой дым повалил из открывшейся

двери,— лейтенант Решетников кинулся в рубку, и там шинель его потерпела серьезную аварию.

Сперва он чуть было не выскочил обратно. Дым бил в лицо, мешая что-либо видеть. Он присел на корточки, стараясь рассмотреть, откуда валит дым, и тогда наткнулся на помощника командира, веселого лейтенанта, с которым шутил наперебой полчаса назад. Тот пытался ползти к штурманскому столу и, увидев Решетникова, прохрипел: «Ракеты... Скорей...» Решетников сунул руку между столом и переборкой, ощупью отыскивая под столом ящик, и уже отчаялся было найти ракеты, когда рука его сама отдернулась от накалившегося металла и он понял, что ракеты лежат в железном ящике. Усилием воли он заставил ладонь сжаться вокруг накалившейся ручки, потянул на себя ящик, оказавшийся неожиданно легким, но тут какая-то шипящая струя ударила ему в спину, потом забила под штурманский стол, растекаясь пышной пеной. Лейтенант отвернул лицо от брызг и увидел сквозь дым матроса, который поливал из пеногона стол, ящик с ракетами, раненого помощника и его самого.

— Не надо, уже тащу! — крикнул он ему.

Матрос ответил:

— Бензобак под палубой! — и перевел струю на занявшийся огнем стол.

Решетников выскочил из рубки с ящиком в руке и кинул его за борт. С правого борта снова свистнула бомба, но он мог думать только о руке: кожа на ладони и на пальцах сморщилась и стала темно-красной. Острая боль, от которой занялось дыхание, охватила его. Он стоял, тряся кистью и дуя на ладонь, когда кто-то легонько ударил его по плечу. Он повернул голову и у самого лица увидел свисающую с мостика руку. Из-под рукава с лейтенантскими нашивками быстро капала кровь. Решетников поднял глаза: командир катера лежал на поручнях мостика лицом вниз.

Решетников вскочил на мостик, чтобы помочь ему, но тут же увидел, что рукоятки машинного телеграфа стоят враздрай, отчего катер, теряя ход, разворачивается на месте. Он поставил правую рукоятку на «стоп» и задрал голову вверх, следя за самолетом, который снова заходил по носу на катер. Решетников и сам не знал еще, куда отвернуть от бомбы, готовой отвалиться от крыла. Но когда та мелькнула, ему показалось, что она упадет недолетом впереди по носу, и он тотчас рванул все три рукоятки на «полный назад». Столб воды встал впереди, горячая волна воздуха и воющие осколки пронеслись над головой, но лейтенант Решетников почти не заметил этого. Первая удача обрадовала его, и, не снимая обожженной ладони с ру-

коятки телеграфа, он повернулся к самолету, который снова начинал атаку.

На этот раз лейтенант повел катер прямо на него, чтобы встретить его огнем обоих пулеметов в лоб, и махнул здоровой рукой, показывая на самолет. Очевидно, люди у пулеметов поняли его, потому что две цветные прерывистые струи помчались в небо и одна из них задела левое крыло, а вторая — мотор. Самолет попытался вскинуть вверх тупую черную морду, чтобы выйти из пике, но движение это, судорожное и неверное, не было уже осмысленным; дернувшись вбок, он лег на крыло и, не сбросив бомб, ушел по аккуратной кривой в воду...

Все это Решетников запомнил в мельчайших деталях, хотя никак не мог толком рассказать потом, когда именно он заменил своими матросами раненых катерников у носового орудия, как вышел на правый борт транспорта и встретил новую группу самолетов плотной, хорошо поставленной завесой, как подбил при этом второй самолет. Упоение боем несло его на высокой и стремительной своей волне, подсказывая необходимые поступки, и время спуталось: секунды тянулись часами, а часы мелькали мгновениями. И только бушлат, который дали ему на катере взамен прогоревшей и вконец испорченной пеной огнетушителя шинели, да обнаженная до мяса ладонь, кожа которой прилипла к рукоятке машинного телеграфа, остались доказательствами того, что этот бой и случайное — ненастоящее, краткое, но все-таки самостоятельное — командование кораблем ему не приснилось.

С этого времени лейтенант Решетников только и думал что о сторожевых катерах.

Он не раз пробовал говорить об этом с командиром крейсера, ходил к нему по вечерам и в долгих душевных разговорах раскрывал свою мечту. Но ничего не получалось: его ценили на крейсере как артиллериста, обещающего стать мастером, и командир даже намекнул на возможность перевода его на главный калибр, что, несомненно, еще месяц назад заставило бы его подпрыгнуть от радости. И так бы и пошел лейтенант Решетников по артиллерийской дорожке, если бы не счастливый случай.

В день получения ордена он оказался в зале Дома флота рядом с незнакомым капитаном третьего ранга, вернувшимся от стола со вторым орденом Крсного Знамени в руках. Фамилию его Решетников не расслышал, потому что очень волновался в ожидании, когда назовут его собственную. Когда, наконец, это случилось и он, багровый до ушей, сел на свое

место с орденом Красной Звезды, капитан третьего ранга с любопытством взглянул на него:

— Значит, вы и есть Решетников? Поздравляю... Давайте дырочку проверчу, вам не с руки...

Они разговорились, и оказалось, что это капитан третьего ранга Владыкин. Владыкин!.. Капитан дивизиона катеров северной базы!.. И он знает о случае на «СК 0519», хотя этот катер вовсе не его дивизиона!.. У Решетникова застучало сердце.

Они вышли вместе, и битый час он выкладывал Владыкину все то, чего не хотел понять командир крейсера. Владыкин смотрел на него сбоку с видимым любопытством, благожелательно поддакивал, расспрашивал и, прощаясь, сказал, что попробует перетащить его на катера: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. Недели две Решетникову только и снился катер, которым он скоро будет командовать, но действительность его несколько огорчила.

На катера его, и точно, перевели, но не командиром катера, как твердо он надеялся после разговора с Владыкиным, а артиллеристом дивизиона, и даже не того, которым командовал Владыкин, а здешнего, охранявшего базу, где находился и крейсер. Ему пришлось проводить нудные учебные стрельбы, надоедать командирам катеров осмотрами материальной части, возиться в мастерских, заниматься с комендорами — словом, делать совсем не то, о чем мечтал, просясь на катера. Он пользовался случаем, чтобы выходить в море на катерах, но походы эти даже и не напоминали его переход на «СК 0519»: катера несли скучный дозор, проводили траление, мирно сопровождали транспорты, передавая их катерам другого дивизиона как раз в том порту, за которым можно было ждать боевых встреч, и только раз-два ему привелось пострелять по самолетам, залетевшим в этот далекий от фронта участок моря. Между тем на севере этого же моря, там, у Владыкина, такие же катера ежедневно встречались с врагом, перевозили десанты, ходили по ночам в тыл противника, конвоировали транспорты, вступая в яростные бои с самолетами, и слава о сторожевых катерах все росла и росла.

Поэтому вполне понятно то волнение, с каким через четыре месяца лейтенант Решетников прочитал приказ о переводе его на дивизион Владыкина и о назначении командиром «СК 0944» вместо старшего лейтенанта Парамонова, убитого при высадке десанта неделю назад.

Может быть, кому-либо другому превращение дивизионного специалиста в командира катера показалось бы понижением, но для лейтенанта Решетникова это было свершением мечты.

Товарищи по выпуску, когда он пришел на крейсер проститься, отлично это поняли. Они поздравляли его с нескрываемой завистью: хоть маленький кораблик, да свой, полная самостоятельность, вот есть где развернуться!

С чувством уважения к самому себе лейтенант покинул дивизион и все двое суток, пока добирался до базы, где ожидал его катер, стоящий в ремонте после боя, держал себя с достоинством, не давал воли жестам и мальчишеской своей веселости, говорил с попутчиками медленно и веско и, раз двести повторив в разговорах «мой катер», «у меня на корабле», совсем уже привык к этому приятному сочетанию слов. Но когда с полуразрушенной бомбежками пристани он увидел этот «свой корабль» и на нем «свою команду» — двадцать человек, ожидающих в строю того, кому они отныне доверяют себя и от кого ждут непрерывных, ежеминутных действий и распоряжений, обеспечивающих им жизнь и победу,— ноги его подкосились, и в горле стало сухо, отчего первый бодрый выкрик «Здравствуйте, товарищи!» вышел хриплым и смущенным.

Странное дело, этот крохотный кораблик, который был точь-в-точь таким, как те катера, на каких он уже не раз ходил в море, и который на палубе крейсера поместился бы без особого стеснения для прочих шлюпок, показался ему совсем незнакомым кораблем, вдвое больше и сложнее самого крейсера. И хотя людей здесь было меньше, чем комендоров на его дивизионе, он смог различить только одного — того, кто стоял на правом фланге. Лицо его, красивое и сумрачное, выражало, казалось, явное разочарование: вот, мол, салажонка прислали, такой, пожалуй, накомандует, будь здоров в святую пасху... И в этом неприветливом взгляде Решетникову померещилось самое страшное: убийственное для него сравнение со старшим лейтенантом Парамоновым. Хуже всего было то, что, как выяснилось тут же, взгляд этот принадлежал старшине первой статьи Никите Хазову, моряку, плававшему на катерах седьмой год и бывшему на «СК 0944» боцманом, то есть главной опорой командира в походе, в шторме и в бою.

Со всей отчетливостью лейтенант Решетников понял, что нужно немедленно же разбить то неверное впечатление, которое произвел на боцмана (да, вероятно, и на остальных) безнадежно мальчишеский вид нового командира. К сожалению, с основного козыря никак нельзя было сейчас пойти: неожиданная встреча на палубе не давала лейтенанту повода скинуть шинель. Поэтому он поднес к глазам руку с часами тем решительным жестом, который давно нравился ему у командира крейсера, и его же шутливым, но не допускающим возражения тоном сказал, весело оглядывая строй:

— Так... теплого разговора тут на холоде у нас, пожалуй, не получится... Соберите команду в кубрике, товарищ лейтенант, там поближе познакомимся!

И, все еще продолжая чувствовать на себе недоверчивый взгляд боцмана, он постарался как можно ловчее нырнуть в узкий люк командирского отсека, где, как помнилось ему по своим походам на других катерах, пистолет обязательно зацепляется кобурой за какой-то чертов обушок, надолго стопоря в люке непривычного человека. Обушок он миновал благополучно и, войдя в крохотную каютку, в которой ему предстояло теперь жить, быстро скинул шинель и тщательно поправил перед зеркалом орден Красной Звезды.

Это и был его основной козырь: орден должен был показать команде катера (и боцману в первую очередь!), с кем им придется иметь дело, и молчаливо подчеркнуть всю значительность тех немногих, но сильных слов, какие он приготовил для первого знакомства с командой. Он мысленно повторил их, сдвинув брови и стараясь придать неприлично жизнерадостному своему лицу выражение суровости и значительности, но тут же увидел в зеркале, что лицо это само собой расплывается в улыбку; в коридорчике у люка прогремели чьи-то сапоги, и голос помощника, лейтенанта Михеева, сказал:

— Прямо в каюту командира поставьте...

«Командира»!.. Не удержавшись, Решетников подмигнул себе в зеркало и вышел из каюты, с удовольствием заметив взгляд, который вскинул на орден матрос, принесший чемодан. В самом лучшем настроении Решетников поднялся на палубу, шагнул в люк кубрика и услышал команду «смирно», раздавшуюся тогда, когда ноги его только еще показались из люка. Он звонко крикнул в ответ: «Вольно!» — соскочил с отвесного трапика, и в глазах у него поплыло.

Перед ним, тесно сгрудившись между койками, стояли взрослые спокойные люди в аккуратных фланелевках с синими воротниками, и почти на каждой из них блестел орден или краснела ленточка медали. В первом ряду был боцман Хазов с орденом Красного Знамени и с медалью «За отвагу».

Краска кинулась в лицо Решетникову. Выдумка его, которой он собирался поразить этих людей (и боцмана в первую очередь), показалась ему глупой, недостойной и нестерпимо стыдной. Он растерянно обводил глазами моряков, и все те значительные и нужные, казалось, слова, которые он так тщательно обдумал дорогой — о воинском долге, о чести черноморца, о мужестве, которого ждет Родина,— мгновенно вылетели из его головы. Мужество, флотская честь, выполненный долг стояли перед ним в живом воплощении, и командовать

этими людьми, каждый из которых видел смерть в глаза и все-таки был готов встретиться с нею еще раз, теперь приходилось ему, лейтенанту Алексею Решетникову... Волнение, охватившее его при этой мысли, было настолько сильным, что, забывшись, он сказал то, что думал и чего, конечно, никак не следовало говорить:

— Вон вы какие, друзья... Как же мне таким катером командовать?..

Такое вступление, будь оно сделано любым другим, несомненно, раз и навсегда погубило бы авторитет нового командира в глазах команды, которая увидела бы в этом прямое заискивание. Но Решетников сказал это с такой искренностью и такое, почти восторженное изумление выразилось на смущенном его лице, что новый командир сразу же расположил к себе всех, и Артюшин, как всегда первым, ответил без задержки:

— А так, как пятьсот девятнадцатым тогда покомандовали, товарищ лейтенант, обижаться не будем...

Остальные одобрительно улыбнулись, а Решетников еще больше смутился.

— А вы разве с пятьсот девятнадцатого? — спросил он, не зная, что ответить.

— Да нет, товарищ лейтенант,— по-прежнему бойко сказал Артюшин,— я-то здешний, прирожденный, с само́й Одессы тут рулевым... Ребята рассказывали. Сами знаете, на катерах, что в колхозе: слышно, в какой хате пиво варят, в какой патефон купили... Соседство, конечно...

Артюшин говорил это шутливым тоном, но по выжидательным и любопытным взглядам остальных лейтенант понял, что «соседство» тут решительно ни при чем, а что, наоборот, команда катера, разузнав фамилию нового командира, сама ревниво собрала о нем сведения со всех катеров и что всесторонняя характеристика его уже составлена, а сейчас идет только проверка ее личными наблюдениями. И в глазах Артюшина он прочел первый горький, но справедливый упрек: провалил ты, мол, командир... видишь, мы о тебе все знаем, а тебе и то в новость, что у нас на катере орденов полно...

Вероятно, Артюшин ничего похожего и не думал. Но лейтенанту Решетникову всегда казалось, что о его ошибках и недостатках другие думают словами самыми жестокими и обидными. Он внутренне выругал себя за мальчишескую торопливость. Конечно, надо было дождаться в штабе дивизиона, когда вернется с моря Владыкин, поговорить с ним о катере, узнать, что́ за люди на нем, а он не смог дождаться утра и поспешил на «свой катер» поскорее «вступить в командование»... Вот и вступил, как в лужу плюхнул с размаху...

Было совершенно неизвестно, как держать себя дальше и что говорить, но та присущая ему прямота, которая не раз причиняла в жизни хлопоты, тут его выручила: он снял фуражку и, присев на чью-то койку, сказал очень просто и душевно:

— Садитесь, товарищи, поговорим... Я о катере толком ничего не знаю: приехал, а начальство в море... Ну, давайте сами знакомиться... Рассказывайте... о нашем катере!

Знакомство это затянулось до ночи. Вернувшись в каюту, он долго не мог заснуть. Он ворочался на узенькой, короткой койке, слушая тихий плеск воды за бортом и думая о катере, с которым связана теперь его жизнь и командирская честь.

Дунай и Одесса, Севастополь и Новороссийск, ночные походы и долгие штормы, десанты и траления, бои и аварии — вся огромная, насыщенная, блистательная и трагическая история крохотного кораблика вновь и вновь проходила перед ним. И моряки, делавшие на катере все эти героические дела, казалось, смотрели на него из темноты, спрашивая: «А как ты теперь будешь командовать нами?..»

Он перебирал в памяти их лица, еще едва знакомые, вспоминая, кто бросил обратно гранату со шлюпки — боцман или Морошкин, кто сбил в тумане самолет, вылетевший прямо на катер, кто именно стоял по пояс в ледяной воде, поддерживая сходню, по которой перебегали на берег десантники, у кого такое «снайперское» зрение, что все спокойны, когда он на вахте?.. Или, может быть, это были те, кого уже нет на катере и о ком только говорилось нынче,— убитые, отправленные в тыл с тяжкими ранами?..

Люди и поступки путались у него в голове, как путались бои и походы. Но во взволнованном его воображении все ярче и яснее вставал образ одного человека — старшего лейтенанта Парамонова, командовавшего катером последние десять месяцев; все, что рассказывали о катере моряки, неизбежно связывалось с ним. И лейтенант Решетников, ворочаясь без сна, думал об этом человеке, которого не видел и не знал, но заменить которого на корабле привелось ему. Будут ли эти люди говорить о нем, лейтенанте Решетникове, с тем же уважением, любовью и грустью, с какими говорили они нынче о старшем лейтенанте Парамонове? И, может быть, первый раз в жизни он понял на самом деле, что́ такое командир — душа и воля корабля, его мужество и спасение, его мысль и его совесть.

И эта долгая ночь подсказала ему поступок, который положил начало его дружбе с командой катера: в носовом восьмиместном кубрике над дверью появился портрет старшего лейтенанта Парамонова. Портрет был небольшой, в простой рамке. Но когда лейтенант Решетников, прикрепив его, повер-

нулся лицом к морякам, молча следившим за ним, он увидел, что глаза их блестят. И у самого у него перехватило горло, когда он негромко сказал:

— Ну вот... Пусть смотрит, как мы тут без него воевать будем...

Глава 3

Живой и общительный характер Решетникова быстро располагал к нему людей, и со стороны казалось, будто он всегда окружен друзьями. На самом деле все, с кем он до сих пор сходился в училище и на крейсере, были ему только приятели. С ними можно было шутить, спорить, говорить на тысячи разнообразных тем и даже делиться многими своими мыслями и чувствами. Но ни перед кем из них не хотелось раскрыть то глубокое и значительное, что волновало душу и что приходилось поэтому обдумывать и переживать наедине с самим собою.

А то глубокое и значительное, что волновало Решетникова, очень трудно было выразить понятно.

Этого веселого, жизнерадостного, действительно молодого человека, как будто очень уверенного в себе, на самом деле беспокоило неясное смутное чувство непонимания чего-то самого главного в жизни. С какого-то времени он ждал, что случится что-то, от чего все вдруг станет ясно и в темном сумраке будущего вспыхнет то, к чему надо стремиться. Ему казалось, что откроется это мгновенно, на таком же высоком подъеме чувств, какой он испытал в тот давний полдень седьмого августа 1937 года, когда над краем степи висела черная, вполнеба, туча и когда ему с совершенной ясностью «открылось», что он должен стать флотским командиром и что другого дела ему в жизни нет.

Детство Решетникова прошло вдали от какого бы то ни было моря — на Алтае, в животноводческом совхозе, где отец его работал зоотехником.

К этой деятельности Сергей Петрович обратился не случайно, а по глубокому внутреннему убеждению, оставив для нее профессию врача. Он буквально был помешан на приплодах и окотах, на выкормке и эпизоотиях и вел серьезную научную работу по созданию новой породы овцы, пригодной для северной казахской степи и предгорьев Алтая. Уже много лет он терпеливо скрещивал разные породы с обыкновенной казахской овцой, добиваясь от нее и тонкорунности, и мясистости, и неприхотливости к погоде и корму. В это далекое от поэзии занятие Сергей Петрович вкладывал столько душевной страстности, что оно приобретало содержание философское и поэти-

ческое: назначение мыслящего человека он видел в том, чтобы охранять жизнь во всех формах, заботливо раздувая чудесный ее огонек, вспыхнувший в любом существе, и совершенствовать эти формы для блага людей, исправляя слепую природу. И каждый раз, когда четвероногие его друзья радовали богатым прибавлением семейства или удачным гибридом, в маленьком домике на краю совхоза было ликование и необъятная Парфеновна, нянька Алеши, стряпуха и постоянный лаборант отца, пекла пирог в честь очередной двойни или какого-нибудь длинношерстного ягнёнка.

Поэтому в комнатах у них шагу нельзя было ступить, чтобы под ногами что-то не заверещало или не заблеяло. Разнообразные отпрыски племенных пород, дорогих сердцу Сергея Петровича, воспитывались в доме до тех пор, пока пребывание их не начинало угрожать мебели или посуде. Тут были ангорские козочки с печальными чистыми глазами и с копытцами, похожими на хрупкие китайские чашечки; ягнята-линкольны с длинной волнистой шерсткой, скользкой, как шелк; массивные, словно литые из какого-то небывалого упругого чугуна, телки-герриформы с твердыми желваками рожек на плоском широком лбу; розовые, суетливые поросята с трудно произносимыми титулами древних пород и даже жеребята, высокие, плоские и тонконогие. Все они были чистенькие, мытые-перемытые Парфеновной, матерью и самим Алешей, веселые, сытые, ласковые, и все имели имена: Панночка, Мазепа, Руслан, Демон, Каштанка (называл их сам Алеша, и это зависело от того, что читала ему вслух по вечерам мать).

В детстве Алеша любил играть с ними. Порой, навозившись, он схватывал вздрагивающее тельце и валился с ним на диван, прижав лицо к теплой пушистой шерстке. Закрыв глаза, он слушал биение крохотного робкого сердца, и ему казалось, что тот чудесный огонек, о котором говорил отец, трепещет и вспыхивает, готовый погаснуть. Жалостное и тревожное чувство овладевало им, и ему становилось совершенно ясно, что надо немедленно сделать все, чтобы огонек этот не погас. Он вскакивал и мчался к отцу, крича, что Онегин гибнет (в слове «умирает» по его мнению, было мало трагизма). И тогда Сергей Петрович, пощипывая рыженькую бородку, тоже наклонялся над беспомощным тельцем, но потом, выпрямившись, улыбался и успокаивал Алешу. Они садились рядом на диван, и отец, почесывая за ухом очередного Алешиного любимца, говорил о том, что, заболев, этот козленок сам найдет травку, которая его вылечит, хотя никто его этому не учил. Он увлекался и, забывая, что говорит с ребенком, сбивался на восторженную биологическую поэму, воспевая великую силу таин-

ственного чудесного огонька. Он рассказывал о жизни, которая сама прокладывает себе дорогу, совершенствуясь в поколениях, расцветая в новых, все улучшающихся формах, и убеждал сына в том, что в заботах о всякой жизни, в охране ее, в помощи ей и заключается смысл существования человека, самого умного из живых существ и потому ответственного за них. Алеша не все понимал, но огромная любовь к миру, до краев наполненному жизнью, сладко сжимала его сердце, и очень хотелось, чтобы все поскорее были красивы и счастливы.

Тринадцати лет он пережил потрясение, внезапно опрокинувшее философию отца. Это произошло в областном городе, куда отец отправлял его на зиму к тетке, чтобы дать ему возможность учиться в десятилетке.

Какой-то незадачливый педагог додумался устроить экскурсию детей на мясокомбинат — «в целях приближения к освоению понимания значения животноводства как решающей проблемы края», а другие чиновники, равнодушные к детям, однако такими же суконными словами уверенно рассуждавшие о детской психологии, не только не остановили его в преступном этом намерении, но, наоборот, одобрили данное мероприятие.

Запах крови, томительный и душный, встретил детей за первой же дверью, ведущей в цехи. Кровь темным и еще горячим ручейком текла по канавкам в полу, кровью были забрызганы белые халаты людей, мелькавших в теплом, влажном тумане, подымавшемся от парного мяса. Они снимали шкуры, отрубали копыта, спиливали рога, и всюду, задевая детей, медленным нескончаемым потоком плыли над головами подвешенные к рельсам красные ободранные туши.

Бледные от волнения, с бьющимися маленькими сердцами, дети, стараясь храбро делать вид, что им все равно, дрожащей, теснящейся друг к другу стайкой шли за самодовольным педагогом, который, расспрашивая сопровождавшего экскурсию инженера, так и сыпал цифрами, названиями, техническими пояснениями.

Наконец их привели в светлый просторный зал. Здесь было пусто, чисто и тихо, но тишина эта была зловещей и страшной. Хитро устроенные загородки вели к помостам с какими-то цепями и крючьями, странными, качающимися досками. Положив руку на блестящий рычаг доски, инженер сказал привычным равнодушным тоном:

— Вот тут, собственно, и происходит самый процесс освобождения от жизни. Животное вводится сюда, затем...

Дальше Алеша ничего уже не слышал — так поразила его необычная формулировка: «освобождение от жизни». Как убивают, детям, слава богу, не показали, и они вышли на

площадку пятого этажа, примыкающую к страшному цеху. Отсюда далеко внизу были видны загоны для скота. Они кишели стадами — мычащими, блеющими, хрюкающими. Алеша узнал в них геррифордов, йоркширов, линкольнов — все породы, которые разводил его отец, и с ужасом подумал, что среди них может метаться Панночка или Онегин.

Открытие это раздавило его.

Неужели тот чудесный огонек жизни, в заботах о котором отец полагал смысл собственного своего существования, был нужен только для того, чтобы вокруг него наросло достаточное количество мяса, белков, жиров и костей, после чего от него о с в о б о ж д а л и с ь, как от чего-то лишнего, мешающего делу?

Мир начал представляться ему совсем не таким, каким изображал его отец, и рай, царивший в домике на краю совхоза, потускнел.

К лету Алеша вернулся домой совсем другим. Восторженность отца по поводу народившихся весною новых милых существ казалась ему теперь ложью или слепотой или (что было хуже всего) ограниченностью. Он долго не решался задать отцу прямого вопроса, но однажды, за очередным пирогом по случаю рождения ягненка того веса, которого добивался Сергей Петрович, не сдержался и выложил все, что видел на мясокомбинате и что думал об этом. Он рассказал это с тем страстным, вдохновенным и скорбным гневом, с каким может говорить только подросток, впервые столкнувшийся с несправедливостью и осознавший ее.

Эффект получился чрезвычайный. Ему удалось так живописно представить поразившую его картину, что мать ахнула, Парфеновна заголосила, прижав к огромной своей груди обреченного ягненка, а отец, помолчав, посмотрел на Алешу с новым, серьезным любопытством и сказал, что он, видимо, вырос.

Все то, что потом в долгих, часто повторявшихся разговорах приводил отец, Алешу никак не убеждало. Он и сам отлично понимал, что те благодетельные изменения в жизни окружавших его людей, которые происходили в степи у него на глазах: каменные дома и электричество в них, школы и больницы, сытная еда и облегчаемый машинами труд — не могли бы произойти, если бы колхозные и совхозные стада, основа благосостояния этих людей, не увеличились и не улучшились бы в качестве за последние годы. Ему было совершенно понятно и то, что прибавка в живом весе каждого ягненка прямо отражалась на судьбе каждого голопузого ребенка, копошащегося в юрте, так как давала возможность образования, совершенствования и, в конечном счете, счастья. Следовательно, отец, увеличивая число ягнят и улучшая их качество, делал важное,

нужное и доброе дело. Алеша соглашался даже с тем, что раз каждое живое существо само по себе все равно должно когда-нибудь умереть, то вопрос лишь в том, чтобы краткое его существование и неотвратимая гибель принесли возможно больше пользы другим существам — в данном случае людям.

Но, понимая умом, он никак не мог принять этих неоспоримых истин чувством. Возможно, если бы той страшной экскурсии не было, вопрос о жизни и смерти раскрылся бы перед ним незаметно и постепенно — так, как раскрывается он в течение всей человеческой жизни, в которой всякому познанию есть свое время. А может быть, иначе — он сам равнодушно прошел бы мимо него, как проходят многие люди, не думающие, а иногда и не желающие думать, что же такое жизнь и смерть. Но вставший перед ним так рано, когда ни ум его, ни чувства еще не созрели и не окрепли, этот вопрос был для него непостижим и непосилен.

Жизнь, обрывающаяся в смерть, чтобы вспыхнуть в новых, неузнаваемых формах; расцвет, возникающий на распаде; исчезновение для возрождения; вечный круговорот материи, вечно и неистребимо живущей в различных воплощениях,— все это принималось его юной, влюбленной во все живое душой не как слитность причин, которая и движет и развивает жизнь, а как чудовищное и несправедливое противоречие. То обстоятельство, что жизнь, уничтожаемая там, на бойне, питала собой других, более совершенных существ — людей, никак не совмещалось с мыслью о «чудесном огоньке», который так трогал и волновал его раньше и который сам же отец вызывал и поддерживал с такой заботой и любовью.

И в отношениях его с отцом наступило охлаждение. Исчерпав разумные доводы, отец перешел к насмешкам. Он предлагал Алеше быть, по крайней мере, последовательным — не восторгаться заливным из поросенка и не уплетать за обе щеки пельмени, в сочной начинке которых, по сибирскому обычаю Парфеновны, были смешаны бычьи, свиные, телячьи жизни. Алеша раздражался и отвечал, что, занимаясь поставкой скота на бойню, надо так и рассматривать это занятие, а не говорить красивых слов о драгоценности всякой жизни и о «чудесном огоньке». Отец тоже вспыхивал и кричал, что не позволит мальчишке оскорблять свои убеждения, и часто обед кончался тем, что мать плакала, а Алеша вскакивал на велосипед и уезжал за тридцать километров дня на три-четыре к своему приятелю и однокласснику Ваське Глухову, сыну командира пограничного отряда.

Отряд стоял у китайской границы на берегу большого степного озера. Еще с прошлого года, когда в конце лета приезжал

в отпуск старший брат Васьки, курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, у них завелась там парусная шлюпка. Собственно говоря, это была обыкновенная рыбачья лодка из тех, что целыми стаями выходили на озеро с сетями. Но Николай, гордясь перед мальчиками флотским уменьем, приделал к ней киль, выкроил из старой палатки разрезной фок, основал ванты и шкоты и научил обоих искусству держать в крутой бейдевинд. Лодка стала называться «вельботом» и отлично выбиралась почти против ветра, изумляя рыбаков, которые на своих тяжелых лодках с прямым парусом испокон веку выгребали навстречу ветру на веслах.

Всякий раз, когда Алеша приезжал к Ваське, мальчики до ночи деловито собирали все, что требовалось для большого похода: тетрадь, где были записаны завещанные Николаем морские слова и команды; другую, в клеенчатом переплете, служившую вахтенным журналом; бидон из-под бензина с пресной водой (в озере была отличная вода, но так уж полагалось на морской шлюпке); ведра, удочки, спички, ружья и компас, который Васька для каждого похода заимствовал из наплечных ремней отца и который на всяком курсе исправно указывал на ближайшее от него ружье. Погрузив все это в шлюпку, приятели с рассветом выходили в озеро, как в океан: оно широко расплескалось в степи, и низких его берегов с середины и в самом деле не было видно.

Первые сутки они проводили «в открытом море», поочередно принимая на себя обязанности и права капитана и команды, кормились захваченной с берега снедью, стойко запивая ее теплой, припахивающей бензином «пресной водой». К вечеру второго дня в команде обычно разражалась цинга или назревал голодный бунт, и тогда обсуждался план набега на вражеские берега за свежей провизией. В зависимости от сезона и от места, где застигло корабль несчастье, вражескими берегами оказывались либо западный мыс с огородами подсобного хозяйства погранотряда, либо южная бухта, в которой хорошо ловилась рыба, либо устье реки, где в камышах водились утки и прочая дичь.

И там с удивительной непоследовательностью юности Алеша, готовый загасить выстрелом «чудесный огонек», часами лежал с ружьем на дне шлюпки, выжидая, когда из камышей, крякая и плещась, выплывет кильватерная колонна выводка. Впрочем, в этом тоже была игра: утки были вражескими кораблями, прорывающими блокаду, двустволка — огромной башней линкора, а сам он казался себе спокойным и властным командиром с трубкой в зубах. В романтическом этом образе было намешано решительно все, что Алеша слышал о море или

прочитал в тех книжках, которые Васька натаскал домой из школьной, отрядной и городской библиотек, утверждая, что тут, в степи, никто не сможет оценить этой литературы так, как он, прирожденный моряк.

Об этих походах по озеру, так же как и об охоте, Алеша, возвращаясь домой, предпочитал не распространяться. Во-первых, не к чему было расстраивать мать: она смертельно боялась всякой воды в количествах, бо́льших того корыта, в котором когда-то со страхом купала его, и совхоз благословляла именно за то, что в нем не было пруда, где Алеша обязательно бы утонул. Во-вторых, ему решительно нечего было бы ответить отцу, который, несомненно, заинтересовался бы, как же это так он, страстно обвиняя отца в убийствах, сам уничтожает жизнь, и вдобавок собственными своими руками? Нельзя же было в самом деле пытаться объяснять ему, что в морских приключениях, когда экипаж готов погибнуть от голода, разбираться в средствах не приходится, тем более что утка, поджаренная на шомполе в дыму костра, удивительно, совсем-совсем по-особому вкусна... Ну, а втолковывать отцу, что это, собственно, вовсе и не утка, а вражеская шхуна, нагруженная продовольствием, и что выстрел в камышах — не охота, а морской бой, уж совсем было невозможно.

На «вельботе» приятели вели разговоры решительно обо всем, но чаще их занимал вопрос будущей профессии; об этом пора было всерьез задуматься: как-никак ведь им скоро стукнет четырнадцать лет!.. Может быть, потому, что Васька жил в суровой и напряженной обстановке погранзаставы, а может быть, потому, что мужчины в этом возрасте представляют собой особый род необычайно чуткого радиоприемника, улавливающего то, что говорится между слов и пишется между строк,— но так или иначе в эти почти детские еще разговоры вошла большая и грозная тема: война. Обоим было неопровержимо ясно, что рано или поздно война с фашизмом будет, вопрос лишь в том, успеют ли они к тому времени вырасти. И поэтому прямая их обязанность — готовиться защищать революцию и Советский Союз на военном корабле (по возможности на одном). И однажды, выйдя на «вельботе» на самую середину озера и подняв на мачте настоящий Военно-морской флаг, сшитый специально на этот случай, приятели, став «смирно», торжественно поклялись под ним, что поступят в Военно-морское училище имени Фрунзе.

С этого дня Алешей целиком овладела мечта о флоте.

Впрочем, по совести говоря, в этой мечте что-то было ему еще не очень ясно. Там, на озере, он с увлечением спорил с Васькой, кто же в конце концов победил в Ютландском

бою — англичане или немцы — и что решает морской бой — торпедный залп или артиллерийский огонь. Там ему было совершенно понятно, что в будущем он станет артиллеристом линейного корабля. Но здесь, дома, в густой тени пахнущих смолою пихт, куда забирался он с книжкой Станюковича или Стивенсона, ему думалось об озере и о ждущем его там «вельботе» совсем по-другому.

Вспоминались почему-то не споры об оружии и маневрах. Вспоминался влажный воздух озера, широкий его простор, свежий ветерок, шквалом налетающий на парус и кренящий шлюпку, те две жестокие бури, в которых они едва не погибли (и которые оба потом небрежно называли «неплохими штормиками»). Вспоминалась торжественная и пленительная тишина закатов и утренних зорь, загадочная мгла низких туманов, лежащая на воде. Но важнее всего и дороже всего было поскрипывание мачты и журчание воды за бортом, рожденное движением по воде, и само это движение вперед, все вперед, непрерывное, неостановимое — бег, стремление, скольжение по ровному широкому простору, где все пути одинаково возможны и одинаково заманчивы... И море — далекое, огромное, расплескавшееся океанами по всему земному шару, никогда не виденное, но желанное — манило и звало его к себе.

Он не понимал еще этого зова и не знал, что именно будет делать на море: стрелять с палубы военного корабля или водить по океанам совторгфлотские пароходы. Второе привлекало его больше. Это была дорога в мир, в неведомые страны, в далекие города, в Индию, в Австралию, в Арктику, и глубоко в душе Алеша признавался себе, что тянет его не война — а море, не бои — а плаванья, не орудия — а компасы.

Но об этих мыслях он пока что не говорил Ваське, чтобы не расстраивать дружбы. И так уж вышло, что, вернувшись осенью в город, Алеша вместе с ним развил бешеную деятельность по пропаганде Военно-Морского Флота. В пионерском отряде школы оба наперебой делали доклады о кораблях, о морской войне, об истории флота, в военно-морском кружке обучали других флотскому семафору и сигнальным флагам, читали вместе книги и журналы, аккуратно присылаемые из Ленинграда Николаем, который горячо поддерживал их увлечение, и оба завоевали себе славу лучших знатоков всего, что касается флота. Но порой, оставшись один, Алеша как бы останавливался с разбегу и, опомнившись, осматривался, пытаясь понять, что же такое выходит.

В самом деле выходила какая-то чепуха: все были уверены в том, что по окончании школы кто-кто, а уж Решетников и Глухов обязательно уедут в Ленинград в Военно-морское

училище имени Фрунзе. Не уверен в этом был только он сам. В минуты раздумья и тишины в душе его снова подымалась знакомая волнующая мечта о море, просторном и свободном, о плаваньях, далеких и долгих, о незнакомых берегах, о тихих закатах, торжественных и величественных, таящих в себе редчайшее чудо зеленого луча, возможное только в океане и видимое лишь счастливцами.

Об этом луче и о связанной с ним легенде Алеша узнал зимой, когда Васька в своих исступленных поисках всяческой морской литературы наткнулся в городской библиотеке на роман Жюля Верна с таким названием. Книгу приятели проглотили залпом, хотя в ней говорилось не столько о морских приключениях, сколько о каком-то чудаке, который изъездил весь мир, чтобы увидеть последний луч уходящего в воду солнца — зеленый луч, приносящий счастье тому, кто сумеет его поймать. Само явление их, однако, заинтересовало, и летом они поставили ряд научных опытов, наблюдая на своем «вельботе» закаты на озере. Никакого зеленого луча при этом не обнаружилось, хотя Васька, многим рискуя ради науки, каждый раз заимствовал для этого полевой бинокль отца. Был запрошен особым письмом такой авторитет, как Николай. Тот ответил, что зеленого луча ему лично видеть не приходилось, хотя плавает он уже четвертую летнюю кампанию, но действительно среди старых моряков, преимущественно торгового флота, такая легенда бытует. Тогда Алеша объявил, что, наверное, зеленый луч можно увидеть только в океане, иначе какое же это редкое явление природы, если все могут наблюдать его где угодно. Васька же утверждал, что раз дело в физике, в простом разложении солнечного спектра нижними слоями атмосферы, то оно может случиться и на озере, были бы эти слои достаточно плотны да чист горизонт.

Но тут в погранотряде начали строить вышку для прыжков в воду, потом приятели занялись отработкой стиля кроль, который у них не ладился, и опыты были забыты, но зеленый луч так и остался для Алеши символом океана и всего, что связано с его простором. И порой в закатный час, когда солнце медленно опускалось над краем степи, ровной, как само море, сладкая, манящая тоска сжимала сердце Алеши. Он представлял себе это же солнце над живым простором океана, и ему казалось, что в первый же раз, когда он увидит его там, из воды навстречу ему блеснет волшебный зеленый луч, как бы подтверждая, что счастье, наконец, достигнуто, если он, Алеша, выбрал своим жизненным путем желанный, манящий к себе океан...

И, может быть, эти видения взяли бы верх, если бы следующее лето не разъяснило ему, чем же именно привлекает его к себе море.

Приехав в совхоз на каникулы, Алеша застал отца прихрамывающим. Оказалось, что Русалка, некогда топотавшая копытцами в домике, чувствительно лягнула отца, когда он прижигал сбитую ее спину. Нога болела, и совхозный врач посоветовал Сергею Петровичу взять путевку в Сеченовский институт физических методов лечения в Севастополе. Отец сообщил об этом за вечерним чаем матери и, хитро подмигнув, сказал, что неплохо было бы поехать всем вместе, показать Алеше по дороге Москву и дать ему возможность посмотреть Крым, на что вполне хватит недавно полученных премиальных. У Алеши захватило дух, остановилось сердце, и, забыв проглотить горячий чай, он безмолвно поднял глаза на мать, ибо в столь важном семейном вопросе голос ее был решающий. И мать, видя в глазах его трепетную мольбу, согласилась, не подозревая, что означает эта мольба и к чему она приведет.

Все было как сон: поезд, станции, новые люди, Москва, Красная площадь, Мавзолей, не виданные никогда трамваи, шум, грохот, залитые светом улицы, снова поезд, поля, леса, тоннели, Крым, солнце... Все это смешалось, и все было где-то в тумане памяти. Реальностью осталось одно: Черное море, огромное море, настоящее соленое море, просторное, шумящее, благословенное, долгожданное...

Оно ворвалось в сердце видением громадной бухты, блеснувшей в вагонном окне после какого-то длинного тоннеля. Темная ее синева лежала в белых и зеленых откосах скал, и не успел Алеша разглядеть, что за черточки и палочки чернеют на мягком синем шелке воды, как поезд повернул и бухта исчезла. И лишь потом, поднимаясь на трамвайчике в город вдоль обрывистого ската и рассматривая бухту во все глаза, Алеша понял, что черточки эти и были военные корабли.

И они стали центром его внимания все то время, которое он провел в этом городе флота и моря. Часами он просиживал на пристани с колоннадой, встречая и провожая военные шлюпки и катера, или торчал на Приморском бульваре возле Памятника затопленным кораблям, жадно всматриваясь в близко проходящие у бонов крейсера, миноносцы, подлодки. Деньги, которые Анна Иннокентьевна давала ему на кино, уходили на другое: он брал в яхт-клубе байдарку и делал на ней смотр кораблям, стоящим на бочках в бухте. Замирая от восторга, он медленно греб вдоль серо-голубых бортов линкора и крейсеров, останавливался, положив мокрое теплое весло на голые ноги, и прислушивался к дудкам, звонкам, склянкам, горнам,

к командам и песням, влюбленно впиваясь взглядом в орудия, шлюпки и мостики, готовый обнять и расцеловать каждую якорную цепь, свисающую в воду (если бы часовой у гюйса позволил байдарке подойти вплотную).

Алеша дорого дал бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на таинственную жизнь за чистыми голубыми бортами, и, покачиваясь на байдарке, мечтал о чуде. Чудес было множество — на выбор. Мог, например, вылететь из иллюминатора подхваченный сквозняком секретный пакет? Он вылавливает его из воды и доставляет командиру. Мог, скажем, во время купанья начать тонуть краснофлотец? Он спасает его, кладет на байдарку и доставляет командиру. Или с бакштова отрывается шлюпка и ее несет в море,— он нагоняет ее, берет на буксир и доставляет командиру. Диверсант на такой же байдарке мог вечером подкрадываться к борту с адской машиной? Он задерживает его и доставляет командиру... Все чудеса обязательно заканчивались стандартным свиданием с командиром и его вопросом: что же хочет Алеша в награду? Тут он скромно говорит, что ему ничего не нужно, кроме разрешения осмотреть корабль или (здесь даже в мечтах Алеша сомневался, не перехватил ли он) согласия взять его с собой на поход.

Но чудо не приходило, а дни проходили, и пора было оставлять Севастополь. И вдруг за пять дней до отъезда чудо — невероятное и простое, как всякое настоящее чудо,— само свалилось на голову.

В выходной день Алеша сидел на пристани на своей любимой скамейке у колонн. Звучало радио, светило солнце, темной синевой лежала за ступенями бухта, и далекой мечтой виднелись там корабли. От них то и дело отваливали баркасы и катера: был час праздничного увольнения на берег. Краснофлотцы, выскакивая из шлюпок, мгновенно заполняли всю пристань, потом взбегали по ступеням и растекались по площади. Сверху, от колоннады, казалось, что с бухты на пристань накатывается мерный прибой: ступени то исчезали под бело-синей волной моряков, то появлялись, яркие платья девушек крутились в этой волне, словно лепестки цветов, подхваченных набегающим валом. Скоро прибой кончился, а на краю пристани все еще пестрел букет платьев и ковбоек, и Алеша понял, что это очередная экскурсия на корабли, ожидающая катер.

Он с острой завистью посмотрел на шумную группу молодежи. Ужасно все-таки быть неорганизованным одиночкой!.. Какие-то девчонки, которым что зоосад, что крейсер, попадут сейчас на корабль, а он... И увидев, что три «девчонки», устав дожидаться на солнцепеке, побежали к его скамье, встал, собираясь уйти, как вдруг одна из них приветливо поздоровалась

и назвала его по имени. Он узнал в ней Панечку, медицинскую сестру, ухаживавшую за отцом в санатории. Она заговорила с ним о скором отъезде, стала спрашивать, все ли успел он в Севастополе посмотреть, но тут их перебил юноша в ковбойке, подошедший со списком в руке. Он спросил, не видели ли они какого-то Петьку. Девушки сказали, что Петька, верно, проспал по случаю выходного, и Алеша, не сдержавшись, буркнул, что такого Петьку мало за это расстрелять. Девушки расхохотались, юноша удивленно на него посмотрел, а Панечка объяснила, что это Алеша Решетников, пионер с Алтая. Юноша в ковбойке оказался работником горкома комсомола, и с ним можно было говорить как мужчина с мужчиной. Алеша отвел его в сторону и выложил ему всю душу (проделав это, впрочем, в крайне быстрых темпах, ибо катер с крейсера уже приближался). Тот ответил, что лишнего человека он взять не может, но что если Петька опоздает...

Петька опоздал — и чудо свершилось.

В комнатку, которую они с матерью снимали возле санатория, Алеша вернулся к вечеру в таком самозабвенном, открытом восторге, что мать спросила, что такое случилось. И Алеша тут же честно признался ей во всем: и в дружбе с Васькой, и в походах по озеру, и в любви своей к морю, и в том, что теперь, побывав на крейсере и пощупав своими руками орудия, он уже окончательно, твердо, бесповоротно понял, что после школы ему одна дорога — в училище Фрунзе. Мать заплакала и заговорила о том, что на море тонут. Алеша засмеялся, обнял ее поласковее и сел рядом с нею. Они провели один из тех вечеров, которые так драгоценны в дружбе матери с взрослеющим сыном,— вечер откровенностей, душевных признаний, слез, сожалений, готовности к взаимным жертвам,— и Анна Иннокентьевна обещала ему не мешать в его разговоре с отцом.

Разговор этот Алеша отложил до возвращения в совхоз: нельзя же было в вагоне, при чужих людях, говорить о том, что переполняло сердце. И только там, на Алтае, повидавшись сперва с Васькой и доведя себя рассказами о Севастополе и о крейсере до последнего накала, Алеша решился поговорить с отцом. Но все время что-то мешало: то у отца было неподходящее настроение, то сам Алеша чувствовал себя «не в форме» для такого серьезного разговора, то колебался: говорить наедине или привлечь в союзники мать. И разговор все откладывался и откладывался, пока не возник сам собой в тот день, когда отец, отправляясь на горный выпас совхозного стада, предложил Алеше прокатиться с ним верхом.

На втором часу пути степь перешла в лесистое взгорье. Все

выше и гуще становились пихты, ели, сосны, и, наконец, всадники въехали в старый сосновый бор. Сухой зной степи сменился свежей прохладой, и притомившиеся кони пошли бок о бок медленным шагом, осторожно ступая по мягкому и скользкому ковру прошлогодней хвои, желтевшей у подножий мощных колонн. Величественная тишина стояла под высоким сводом ветвей, и после ослепляющего простора степи все здесь казалось погруженным в полумрак. Лишь порой проникавший сюда солнечный луч, узкий и яркий, вырывал из него муравейник в глубокой впадине между корнями, поросший мхом пень с лужицей застоявшейся в нем коричневой воды или блестел на крупных каплях янтарной смолы, стекающей по стволу,— и все, чего касалось солнце, вдруг обретало краски и объем, кидалось в глаза и задерживало на себе взгляд. Алеша, покачиваясь в седле, долго любовался этой игрой света молча и вдруг усмехнулся. Отец взглянул на него сбоку:

— Ты чему?

— Мыслям...

— А именно?

— Так их разве расскажешь? — засмеялся Алеша и повернул к отцу оживленное лицо.— Ну вот у тебя бывает так, что все вдруг сразу понятно и ясно? Будто как сейчас: ударило солнце в муравейник — он и виден, а не ударило бы — так и проедешь мимо...

— Чтобы все понятно, этого не бывало,— улыбнулся отец,— а кой о чем догадываться случалось... Только, конечно, не вдруг.

— Нет, именно вдруг,— упрямо повторил Алеша,— именно вдруг... Мучился-мучился человек, думал-думал, колебался, не знал, как решить... И вдруг — раз! — и открылось... И оказывается, все очень просто... А главное — ясно! Так ясно, так легко, что прямо кричать хочется! — И он в самом деле закричал звонко и счастливо.

Конь под ним шарахнулся, и Сергей Петрович, сдерживая своего, засмеялся, любуясь сыном: такое откровенное счастье было на его загорелом лице, так блестели глаза и такая решимость была во всем его тонком и хрупком, еще не сложившемся теле, наклонившемся в седле, что казалось, дай только волю — и ударит Алеша коня и умчится к видимой ему одному далекой и прекрасной цели, только что открывшейся для него, не понимая, что цель эта — просто юношеская мечта, привидевшаяся в горячке воображения, мираж, который растает в воздухе, едва заведет человека в пустыню, где тот долго будет оглядываться и искать, что же так прекрасно и сильно манило его к себе и что завлекло его сюда... Сергей Петрович любил в сыне эту способность мгновенно загораться, но в глубине души

считал ее опасной чертой характера, могущей быть причиной многих жизненных ошибок.

— Эк тебя надирает! — сказал Сергей Петрович, все еще улыбаясь.— Счастливый у тебя возраст... Ну ладно, как говорится, «простим горячке юных лет и юный жар и юный бред»... Только имей в виду: такому наитию, брат, грош цена. Решение должно в самом человеке созреть, а не с неба свалиться.

— Да ты не понимаешь! — досадливо отмахнулся Алеша.— Я и не говорю, что с неба. Конечно, человек перед этим долго думал и мучился, а тут... Скачок, понимаешь? — добавил он важно.— Переход количества в качество...

— Вон что! Тогда понятно,— так же важно ответил отец.— И какой же в тебе произошел скачок?

Он спросил совершенно серьезным тоном, но в глазах его Алеша увидел искорки смеха, и это его подхлестнуло: неужели отец все еще считает его мальчиком, неспособным к раздумьям, колебаниям и решениям?! И неожиданно для самого себя Алеша заговорил о том, что «открылось» ему в Севастополе на палубе крейсера.

Сергей Петрович слушал его, не прерывая и даже не поворачивая к нему лица. Опустив голову и глядя прямо перед собой меж прядающими ушами коня, он молча следил за тем внезапным потоком слов, который вырвался, наконец, из самого сердца Алеши. Это были удивительные слова мечты и надежды, исполненные юношеской горячности и одержимости, целая поэма о море, кораблях и орудиях, развернутый трактат о воинском долге мужчины, страстное исповедание веры в свое призвание. Алеша говорил негромко и взволнованно, устремив взгляд в полумрак бора, будто видел в нем мерещившиеся ему просторы. И, только выложив все и закончив тем, что жизненный путь избран им навсегда и что путь этот — военный флот, Алеша повернулся к отцу.

И тогда острая жалость стиснула его сердце: у Сергея Петровича, ссутулившегося в седле, был совсем несчастный вид. Минуты две они ехали молча, только легкий треск сухих игл под копытами, пофыркивание коней да позвякивание стремян нарушали тишину леса. Алеша проклинал в душе и эту тишину, настроившую его на откровенность, и солнечные пятна, напомнившие о прекрасном и легком чувстве там, на палубе крейсера, когда ему вдруг все «открылось». Оживление его как рукой сняло, и он ехал, молчаливо мучаясь: зря завел он этот разговор, все отлично обошлось бы как-нибудь само собой, со временем, и не было бы у отца этого убитого вида, который хуже всякого гнева и крика... Алеша уже готов был сказать какие-то ласковые слова, чтобы поддержать отца, который,

несомненно, очень тяжело переживает эту новость, когда тот, по-прежнему глядя между ушами коня, негромко сказал:

— Так, брат... Выходит, ты и в самом деле вырос... Рановато, конечно, в пятнадцать лет всю свою судьбу решать, но против рожна, видно, не попрешь... Значит, решил ты всерьез?

— Да,— виновато сказал Алеша.

— Ну что ж. Дело твое. У меня к тебе один только вопрос: ты вполне уверен, что тянет тебя именно военный флот?

— Вполне,— сказал Алеша, собрав всю свою убежденность.

— А не море?

— Что — море? — спросил Алеша, настораживаясь: все, что, казалось, бесследно исчезло в Севастополе,— океаны, плавания, словом, «зеленый луч»,— снова встало перед ним. Походило, будто отец подслушал самые тайные (и самые грозные) его сомнения.

— Ну, море. Просто море. Вода, волны, простор, путешествия. Стихия заманчивая и прекрасная, такой и впрямь можно увлечься.

— Ну и море, конечно... Нельзя быть военным моряком и не любить моря: это одно и то же...

— Теперь ты меня не понимаешь,— серьезно сказал отец и впервые поднял на него взгляд.— Я хочу знать, хорошо ли ты в себе разобрался, что именно тебя привлекает. Может, просто-напросто тебе плавать хочется? По морям побродить, мир посмотреть, а?

— Видишь ли...— смутился Алеша и тут же нагнулся подтянуть стремя.— До Севастополя я и сам путался... наверное, потому, что военные корабли только на картинках видал... А там... Ну, я ж тебе только что говорил: это совсем-совсем особое чувство...

Он, наконец, выпрямился, подняв покрасневшее не то от натуги, не то от смущения лицо, и закончил, уже овладев собой:

— Теперь-то я твердо знаю: именно военные корабли... И потом, ты сам подумай: ну, пойду я в Совторгфлот, похожу по океанам, привыкну к торговому пароходу, полюблю его, а война бахнет — и пожалуйте бриться... Нет уж, раз все равно воевать придется, так лучше заранее научиться как... И лучше воевать на море, чем в пехоте, верно ведь?

Алеша залпом выложил свои последние доводы, но Сергей Петрович на них не ответил. Он снова уставился взглядом меж ушей коня, на этот раз тихонько насвистывая, что означало у него сдерживаемое раздражение. Потом горько усмехнулся:

— Н-да... Прямо, брат, как в сказке: и все прялки во дворце попрятали, и прясть во всем царстве запретили, а дочка сама веретено нашла, укололась — и папаше все-таки на сто лет

компот устроила...— Он помолчал и вздохнул.— Одно мне удивительно: откуда в тебе этот интерес к войне взялся? В городе ты его набрался, что ли? В школе или в пионеротряде?

Алеша обиделся.

— Что значит набрался? — сказал он, чувствуя, что начинается спор, который ни к чему не приведет.— Фашисты все равно нападут — рано или поздно, это ясно всем, кроме тебя. Война же обязательно будет.

— Ну хорошо, пусть будет, черт с ней совсем! — так же резко перебил его Сергей Петрович и снова посвистал, пощипывая бородку.

Потом, успокоившись, продолжал раздумчиво и негромко:

— Но ведь ты понимаешь, что одно дело — взяться за оружие в час опасности, когда за горло схватят, а другое — быть военным-профессионалом. Вдобавок командиром. Тут, брат ты мой, нужно быть человеком совсем особой складки. Одного желания для этого маловато. Для командира требуются задатки, определенный характер, способности... Ничего этого я в тебе не вижу. Вот помнишь, как ты о бойне разорялся?

— Помню,— сказал Алеша, снова покраснев.— Так я же мальчишкой тогда был...

— Не в том, брат, дело. Для тысячи мальчишек это в порядке вещей: ну, росла корова, зарезали ее и съели — подумаешь, трагедия! А для тебя это оказалось прямо-таки потрясением. Отчего? Хочешь ты или не хочешь, а сидит в тебе любовь ко всякой жизни, и сидит глубже, чем сам ты предполагаешь... Это, брат, с детства: чудесный огонек помнишь? Вернется это к тебе с возрастом — ох, вернется! — да поздно будет. И увидишь ты себя несчастным человеком, который чувствует, что не своим делом занимается. Не позавидую я тебе, когда ты на это открытие наткнешься. Страшное, брат, дело — в собственной жизни раскаиваться...

Он покачал головой, нахмурился и значительно поджал губы, потом снова заговорил негромко и доверительно:

— Мне вот тоже когда-то было совершенно ясно, что я непременно должен стать врачом. Годы на это положил — учился, дипломы получал, потом людей мучил и сам мучился, пока не понял, что это вовсе не мое дело: ни таланта во мне к этому, ни охоты настоящей, ни смелости, ни упорства, а так — лечу людей, потому что чему-то учился, а вдохновения во всем этом шиш... Всякое дело, Алеша, надо делать страстно, убежденно, веря, что оно для тебя единственное. А я годы в чужой сбруе ходил... Уж и ты народился, а я все врачом ковырялся. И плохим врачом... Пока не понял, что настоящее мое дело — скот разводить. Через скот людям помогать жить, а не при-

парками да микстурами, в которых я ни бе ни ме... Только тогда смысл своей жизни понял — и вздохнул, будто из каторги на волю вырвался. А кто же мне эту каторгу устроил? Сам... Но мне-то можно было бросить одно дело и заняться другим, что по душе оказалось, а тебе будет трудновато. Командир, брат,— это дело такое: назвался груздем, полезай в кузов до конца жизни. Вот ты о чем подумай, прежде чем жизнь решать... Небось тебе это в голову не приходило, а?

Алеша молчал. Что ему было ответить? Снова говорить о своей мечте? Но легкие, радостные слова, которые только что так свободно и весело срывались с языка, вдруг отяжелели и потускнели, и никакая сила в мире не заставила бы его снова заговорить так, как он недавно говорил отцу о флоте. Он молчал, упрямо смотря перед собой. И отец, видимо, понял, что происходило в нем, потому что вдруг протянул к нему руку и ласково пожал ему локоть.

— А впрочем, я тебя не отговариваю,— сказал он совсем другим тоном.— Да и чего отговаривать: чужой опыт, как известно, никого еще не убеждал. Так уж человек устроен, что ему свою стенку собственным лбом прошибать хочется. Раз тебе кажется, что это настоящее твое призвание, что ж, спорить не стану. Решай как знаешь... А пока что давай позавтракаем, благо тут тень...

Три дня Алеша был в самом лучшем настроении — все обошлось неожиданно просто: спорить, убеждать, доказывать оказалось совсем не нужно. Но все же разговор в лесу оставил в нем странное чувство растерянности и неудовлетворенности. Получилось так, будто он изо всех сил навалился на дверь, думая, что ее подпирают плечом с той стороны, а она внезапно распахнулась, и он с размаху влетел в пустую комнату, где вместо ожидаемого противника увидел в зеркале самого себя. И лесной разговор и последующие неизменно заканчивались тем, что Сергей Петрович предоставлял Алеше полную свободу выбора. А это было хуже всего, потому что вопрос отца «а не просто море?» опять поднял в нем целый ворох давнишних размышлений и сомнений.

Чтобы укрепиться в своей мысли о военном флоте, Алеша поделился с Васькой доводами отца, умолчав, впрочем, обо всем том, что именовалось у него «зеленым лучом», так как раскрыть Ваське свою смутную мечту об океанах означало немедленно схлопотать какое-нибудь ядовитое словечко, вроде «безработного Колумба».

Васька, как и следовало ожидать, подошел к вопросу со свойственной ему прямолинейностью: Сергей Петрович — просто упрямый старик (хотя тому было немногим за сорок),

который эгоистически боится за жизнь сына и прикрывает это всякими теорийками, попахивающими «беспочвенным пацифизмом». Впрочем, зоотехнику простительно говорить о каком-то особом складе характера и врожденных задатках, якобы необходимых для командира: все это только отрыжка биологической теории отбора и этой — как ее? — секреции (Васька хотел сказать «селекции», но в негодовании перепутал слово). Однако прислушиваться к этим теорийкам, конечно, опасно, и на месте Алеши он решил бы вопрос четко, по-командирски: немедленно порвал бы с семьей, переехал до зимы в погранотряд, а зимой устроился бы жить при школе, чтобы не отравлять сознания разговорами с теткой, которую Сергей Петрович, понятно, сумеет соответственно настроить.

Такие крайние меры никак не устраивали Алешу, и, успокоив Ваську тем, что отец, собственно, не протестует, а только предоставляет ему решать самому, он больше не заводил разговора о своих сомнениях. И беседы их на «вельботе» вернулись к обсуждению пути на флот. Путь этот был ясен: как только их примут в комсомол, они сразу же заговорят о путевках в училище Фрунзе, чтобы их кто-нибудь не опередил. Впрочем, кому-кому, а им-то, лучшим активистам военно-морского дела, горком, несомненно, путевки забронирует...

По возвращении в город они пошли в горком комсомола разузнать обо всем. Путевки им действительно обещали, но тут же предупредили, что рассчитывать на них могут только отличники (которыми друзья отродясь не бывали). Кроме того, выяснилось, что путевка, собственно, дает лишь право держать вступительные экзамены в училище, на которых за каждую вакансию борются шесть-семь, а в иной год и все десять таких же отличников-комсомольцев. Поэтому пришлось сильно навалиться на учебу, и зима пролетела незаметно, подошла весна — и Алеша снова приехал на лето домой в совхоз.

За эту зиму Сергей Петрович подготовил новый, тщательно обдуманный ход. Отлично понимая, что если в это решающее лето — последнее перед окончанием школы — ему не удастся переубедить сына, тот пойдет по пути, о котором он не мог думать без глубокой тревоги за его судьбу. Все в нем восставало при мысли, что Алеша избирает пожизненную профессию командира. В этом протесте смешивались различные чувства. Тут была и горечь, что сын не понимает и не хочет понять его, и боязнь, что это незрелое юношеское увлечение, в котором Алеша будет потом запоздало каяться, и простой отцовский страх за его жизнь.

Но отговаривать, убеждать, протестовать — значило только сделать хуже: он вспоминал самого себя в этом же возрасте

и понимал, что противодействием можно только разжечь желание и укрепить решение Алеши. Поэтому он пустил в ход иное, сильное средство.

Глава 4

В середине июня директорский «газик» привез со станции необычного для алтайского совхоза гостя — высокого и полного, немолодого уже моряка в белом кителе с четырьмя золотыми обручами на рукавах, веселого, громкоголосого, пахнущего душистым трубочным табаком и морем: и сам он и все его вещи были пропитаны запахом смоленого троса, угольного дымка, свежей краски и еще чего-то неуловимого, что трудно было определить, но что сразу же перенесло Алешу на палубу севастопольского крейсера. Он поразился, каким образом мог так долго сохраниться на госте этот удивительный корабельный запах, но на другое же утро выяснил, что причиной его был какой-то необыкновенный одеколон со штормующей шхуной на этикетке, которым гость протирал после бритья крепкие розовые щеки и крутую шею и который он купил сам не помнил, в каком порту.

Это был капитан дальнего плавания Петр Ильич Ершов, давний друг семьи. Алеша знал о нем только по рассказам отца и по тем шуткам, которыми тот смущал иногда мать, напоминая ей, как в свое время она мучилась, за кого же ей выходить замуж — за Сережу или за Петро. Появление его в совхозе объяснилось за обедом: вкусно уминая пирог, Ершов рассказал, что получил назначение на достраивающийся новый теплоход «Дежнев» и что ему пришло в голову воспользоваться переездом из Владивостока в Ленинград, чтобы повидаться с друзьями, поохотиться и отдохнуть недельку в степи — вдали от всякой воды, которая ему порядком надоела.

Само собой понятно, что Алеша с места по уши влюбился в Петра Ильича. Как и большинство пожилых моряков, Ершов умел и любил порассказать, а ему, за тридцать лет исходившему почти все моря и океаны, было что вспомнить. Неведомая Алеше жизнь тружеников моря — лесовозов, танкеров, чернорабочих грузовых пароходов, скоростных пассажирских лайнеров — все яснее и привлекательнее открывалась перед ним. Знакомое и дорогое видение севастопольской бухты и серо-голубых кораблей в ней, которое жило в его сердце, тускнело и отступало, заволакиваясь туманами Ла-Манша, захлестываясь высокими валами океанских штормов, заслоняясь пальмами Африки и нью-йоркскими небоскребами. За обедом он

дрейфовал во льдах Арктики, за ужином штормовал в Бискайке, засыпал у экватора на танкере, идущем в Бразилию, и просыпался на каком-нибудь лесовозе в Портсмуте. Все когда-либо прочитанные им Стивенсоны, Конрады, Станюковичи, Марлинские, Джеки Лондоны, фрегаты «Паллады» и «Надежды», «Пятнадцатилетние капитаны» и капитаны Марриэты снова ожили в нем с силой чрезвычайной, и все в мире свелось к Ершову, к рокочущему его голосу и его упоительным рассказам.

Отец наблюдал эту внезапно вспыхнувшую дружбу с удовлетворенным видом исследователя, который убеждается в правильном течении поставленного им опыта. И по тому, как благожелательно слушал он за столом Ершова и даже сам наводил его на новые рассказы о плаваниях, Алеша догадывался, что капитан появился в совхозе вовсе не случайно. Однако хитрая политика отца ничуть не обидела его. Напротив, в глубине души он был даже благодарен ему за такой поворот дела. Наконец-то стало вполне ясно (и на этот раз неопровержимо!), кем же следовало быть ему, Алеше: конечно, штурманом, а потом капитаном дальнего плавания!.. И лишь в те редкие часы, когда Петр Ильич уходил гулять вдвоем с отцом, а он, пожираемый ревностью, оставался один, ему вспоминался Васька Глухов, их планы и мечты о военном флоте, горком комсомола и путевки в военно-морское училище... Если бы не эти укоры совести да не самолюбие, он давно бы признался Ершову в своем новом решении и начал бы расспрашивать о том, как поступить в морской техникум.

По счастливому повороту событий, надобность в таком признании отпала. Судьба (или отец?) снова пошла навстречу Алеше.

Незадолго до отъезда капитана Сергей Петрович за обедом завел разговор о том, долго ли придется Ершову быть в Ленинграде, и тот ответил, что, к сожалению, проторчит всю зиму. Поругав наркомат, который заставляет его заниматься совсем не капитанским делом, Ершов сказал, что он, конечно, отвертелся бы от этого назначения, если бы не заманчивые перспективы. Дело в том, что «Дежнев» предназначен для тихоокеанского бассейна, а так как в Средиземке нынче безобразничают фашисты, то, если к весне с ними в Испании не покончат, вести «Дежнева» во Владивосток придется не через Суэцкий канал, а вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды. В наши времена такой редкостный походик не так уж часто случается, и пропускать его просто глупо. И тут же Петр Ильич начал подробно рассказывать о маршруте — Портсмут, Кейптаун, Мадагаскар, Сингапур, Гонконг — и вдруг, осененный внезапной

мыслью, посмотрел на Алешу и спросил, не хочет ли он пройтись на «Дежневе» без малого кругом света.

От неожиданности Алеша подавился пельменем и лишился языка. Ершов расхохотался.

— Ну чего ты на меня уставился? Проще простого... Ты школу когда кончаешь?

— В июне,— сказал Алеша, проглотив, наконец, пельмень.

— Добре. Раньше и «Дежнев» испытаний не закончит.

И он сразу же начал строить планы, оказавшиеся вполне реальными.

Переход «Дежнева» займет около двух месяцев. Готовиться к экзаменам в Военно-морское училище имени Фрунзе Алеша сможет и на судне, а иметь у себя за кормой до начала военной службы добрые двадцать тысяч миль и накопить морской опыт будет неплохо. Только, понятно, без дела на судне болтаться нечего, и уж если идти в поход, то не пассажиром, а, скажем, палубным юнгой: так и ему пользы больше будет, да и с оформлением легче...

Дни, оставшиеся до отъезда волшебного гостя, прошли в каком-то счастливом и тревожном чаду. Алеша, растерянный, ошалевший, изнемогающий от избытка счастья, ходил за Ершовым по пятам, влюбленно смотрел ему в глаза и в тысячный раз допытывался, не пошутил ли он. Но какие там шутки! Все было обговорено и обсуждено на различных частных совещаниях и потом утверждено на общем семейном собрании: сдав в школе последний экзамен, Алеша тотчас же едет в Ленинград и включается в экипаж «Дежнева» при одном, впрочем, условии, что школу он кончит отличником (требование это было выставлено Сергеем Петровичем, который выразил опасение, что зимой Алеша будет целыми вечерами сидеть над атласом мира, забыв об учении).

При этих обсуждениях Алеша сильно кривил душой, умалчивая об одном существенном обстоятельстве: прикидывая, когда «Дежнев» должен прийти во Владивосток, чтобы он мог поспеть в Ленинград к началу экзаменов в военно-морское училище, все считали крайним сроком половину августа. Между тем самому Алеше отлично было известно, что экзамены начинаются гораздо раньше и, кроме того, нужно учитывать еще и двенадцать дней дороги до Ленинграда (о чем почему-то все забывали). Получалось так, что к экзаменам он поспевал лишь в том случае, если «Дежнев» придет во Владивосток не позднее половины июля, чего никак не могло произойти. Но обо всем этом Алеша предпочитал не говорить, ибо тогда пришлось бы признаться, что военно-морское училище его теперь совершенно не интересовало.

Алеша прекрасно понимал, что этот сказочный поход и поступление той же осенью в училище Фрунзе несовместимы и приходится выбирать что-либо одно. И он выбрал «Дежнева» и все, что связано с ним: в далеком будущем диплом капитана дальнего плавания, а в самом ближайшем — мореходный техникум. Какой именно — во Владивостоке или в Лениграде, сразу по возвращении «Дежнева» или через год, по экзамену или простым откомандированием с судна (Алеша уже привык заменять этим словом военное — корабль) — надо было обсудить с Петром Ильичом теперь же, но тогда приходилось признаваться ему в своем новом решении.

А как об этом заговорить? Нельзя же в самом деле взять и бухнуть: «Петр Ильич, а я, мол, оказывается, вовсе не на военные корабли хочу, а в Совторгфлот...» Вдруг Ершов расхохочется и начнет издеваться: «Что же, у тебя семь пятниц на неделе? Шумел-шумел, разорялся, отца расстроил — и вдруг на обратный курс?..»

И Алеша все откладывал разговор, поджидая удобного случая. Наконец он решил, что лучше всего будет поговорить с Ершовым в машине, когда тот поедет на железнодорожную станцию: за шесть-семь часов пути удобный случай всегда найдется. Поэтому он напросился проводить гостя. Ершов будто угадал его желание поговорить напоследок, потому что, распрощавшись со всеми и подойдя к «газику», поставил свой чемодан к шоферу, а сам сел на заднее сиденье с Алешей, растрогав его таким вниманием.

Время было уже к закату, и жара спадала, когда из перелесков предгорья они выехали на шоссе, уходящее в степь широкой пыльной полосой, отмеченной частоколом телеграфных столбов. Древний тракт, помнящий почтовую гоньбу, был сильно побит грузовиками. Отчаянно прыгая и дребезжа, «газик» завилял от обочины к обочине в поисках дороги поровнее, и разговаривать по душам было невозможно. Алеша решительно наклонился к шоферу.

— Федя, давай через Ак-Таш, тут все кишки вытрясешь...

— А чий? — возразил шофер.

— Ну и что ж, что чий, его там немного... Сворачивай, вон съезд!

Машина скатилась с шоссе на колею проселка, едва заметную в низкой траве, и сразу пошла мягче и быстрее, но разговор все-таки не налаживался. Первые полчаса он перескакивал с одного на другое, и Алеше никак не удавалось навести его на свое, а потом и вовсе прекратился: проселок весь оказался в глубоких ухабах, «газик» резко сбавил ход и запылил так, что Ершов закрыл платком рот. Колеса, проваливаясь

в ямы, вздымали густые облака мелкой душной пыли, и она неотступно двигалась вместе с машиной, закрывая и степь и небо плотным серо-желтым туманом. Сквозь него виднелись только густые заросли высокой и жесткой, похожей на осоку травы, близко обступившей узкую дорогу.

Это и был чий — враг степной дороги.

В степи, как известно, дорог не строят: их просто наезживают раз за разом, пока травяной покров не превратится в плотную серую ленту накатанной дороги. Всякая трава гибнет под колесами покорно, но чий, который растет пучками, почти кустами, глубоко запуская в почву крепкие и длинные корни, мстит за свою гибель крупными высокими кочками,— и чем больше по ним ездят, тем глубже становятся между ними ухабы.

Все это Алеша, чихая и кашляя от пыли, извиняющимся тоном объяснил Ершову. Тот глухо ответил из-под платка:

— А чего же тебя сюда понесло? Уж на что шоссе — дрянь, а такой пакости не было.

— Да тут кусочек, километров шесть...

— Спасибо,— буркнул Ершов.— Тоже мне, штурман...

— Да нет, все правильно,— убежденно сказал Алеша.— Лучше уж тут потерпеть, чем по шоссейке трястись... Она вся битая, быстро не поедешь, а тут — увидите, как дунем! Сами ахнете!

И точно, вскоре машина выбралась из чия и помчалась на запад по гладкой природной дороге, пересекающей степь напрямки, почти без поворотов. Ершов снял фуражку и облегченно подставил лицо ветерку, рожденному быстрым движением.

— Ф-фу, твоя правда,— сказал он, отдуваясь, и с удовольствием осмотрелся по сторонам.— Вон она, оказывается, какая — степь... Просторно, что в море!

Теперь, когда пыль отставала, крутясь за «газиком» длинным хвостом, однообразная огромность степи открылась перед глазами во всю свою ширь. Желто-зеленая гладь раскинулась во все стороны и, не заслоняя неба ни гребнем леса, ни зазубринами гор, сходилась с ним такой безупречно ровной линией, что она и впрямь напоминала о морском горизонте. Солнце висело над степью совсем низко; длинные тени тянулись от каждого бугорка, отчего становилось понятно, что степь, кажущаяся днем гладкой как стол, на самом деле составлена из пологих холмов, плавно вздымающихся друг за другом, как застывшие волны.

«Газик» взбирался на них и скатывался так незаметно, что уловить это можно было только по тому, как он то погружался

в тень, прячась от солнца, то вновь попадала в его мягкие по-вечернему лучи.

Петр Ильич усмехнулся.

— И зыбь совсем океанская... Увидишь сам, до чего занятно: штиль, вода, будто зеркало, а встретишь судно — оно где-то внизу, вроде как под горой. Глазам не поверишь — вон куда тебя, оказывается, вознесло...

Знакомая просторная мечта поднялась в Алеше с неодолимой силой, как та волна, о которой говорил капитан,— могуче и вздымающе, и все в нем сладко заныло при мысли, что мечта эта близка к осуществлению. Все видения, связанные с океаном, обступили его тесной толпой, и можно было говорить о них как о чем-то доступном и возможном. От этой мысли Алеша счастливо улыбнулся.

— Петр Ильич, мы вот с Васькой спорили,— сказал он оживленно,— ведь правда, зеленый луч только в океане бывает? Вот вы, например, где его видели?

— Да нигде.

— Как нигде? — поразился Алеша.— Столько плавали и ни разу не видели?

Ершов усмехнулся:

— Этот твой зеленый луч вроде морского змея: все о нем по-разному врут, а какой он на самом деле, никому не известно. Вот я и не знаю, видел его или нет.

— А что же вы видели?

— Зеленую точку. И не так уже редко. Потому и считаю, что зеленый луч наблюдать не сподобился. Вот есть такой мореходный деятель, капитан дальнего плавания Васенька Краснюков — ему шестьдесят лет, а он все Васенька,— так тот на каждом рейсе зеленый луч видит, да еще какой! Говорит, вырывается из воды прямо вверх, узкий, как луч прожектора, но держится мгновение; если в этот момент глазом случайно моргнешь, так и не заметишь его... Видно, все у него на палубе как раз в это мгновение и моргают, потому что каждый раз он один видит. Но в судовой журнал для науки обязательно записывает с широтой-долготой и давлением барометра... Впрочем, был и у меня случай увидеть, только не на закате, а на восходе, да я проспал. Матросы наши видели и вряд ли врали. В науке это не отмечено, потому что дело было в девятьсот десятом году на шхуне одесского грека Постополу, и записывать, понятно, никому и в голову не взбрело...

— А я вот раз тоже интересно заметил,— вмешался Федя.— Еду из Зайсана акурат на закат, а небо все в облаках, только в одном месте...

— Да погоди ты! — нетерпеливо оборвал его Алеша.— Ну и что они видели, Петр Ильич?

— Шли мы Суэцким заливом — грек наш семерых казанских купцов подрядился в Мекку на паломничество свозить,— я только что со штурвала сошел спать, а матросы вставали, седьмой час был. Как начало солнце всходить — а оно там из-за Синайских гор вылазит,— так все ахнули: и небо зеленым стало, и вода, и все на палубе, как мертвецы, зеленые. Говорят, секунду-две так держалось, потом пропало, и солнце показалось. А я проспал. Но если о легенде говорить, будто зеленый луч только счастливому удается видеть, то вышло наоборот: я вот еще плаваю, а грек со всеми матросами той же осенью утонул. И где: в Новороссийской бухте, у самого берега — бора с якорей шхуну сорвала и разбила о камни. А я только неделю как расчет взял. Вот тебе и легенда...

— Приметы — это пережиток,— авторитетно сказал Федя.— Взять кошку. Иной машину остановит и давай вкруг нее крутиться, чтобы след перейти, а я...

— Федя!..— угрожающе повернулся к нему Алеша.— Дай ты человеку говорить, что у тебя за характер! А точка, Петр Ильич, как вы ее видели?

— Ну, это часто. Ты ее где хочешь увидишь, не только в океане. Я и на Балтике видел и на Черном море. Если горизонт чист и солнце в самую воду идет — следи. Как только верхний край станет исчезать — тут, бывает, она и появляется. Яркая-яркая и цвет очень чистый. Будто кто на сильном свету изумруд просвечивает. Подержится секунду, а то и меньше, и погаснет. Иногда ярче видна, иногда послабее...

— Буду плавать — ни одного заката не пропущу,— убежденно сказал Алеша.— Когда-нибудь настоящий зеленый луч поймаю, вот увидите!

— У каждого человека своя мечта есть,— опять вмешался Федя.— У меня вот — птицу на лету машиной сшибить. Мечтаю, а не выходит. А вот Петров в погранотряде прошлой осенью беркута...

«Газик» вдруг зачихал, зафыркал, выстрелил несколько раз и остановился.

— Наелись все-таки пыли, чертов чий,— сказал недовольно Федя и открыл дверцу.— Теперь карбюратор сымать.

Ершов тоже открыл дверцу и грузно шагнул в траву.

— Ладно, мы промнемся... Пойдем вперед, Алеша.

Все складывалось как нельзя лучше: конечно, вести серьезный разговор в присутствии словоохотливого Феди было трудно. Но, отойдя от машины, когда ничто уже не мешало, Алеша продолжал молчать. Молчал и Петр Ильич, неторопливо

набивая на ходу трубку, и все вокруг было так тихо, что шорох травы под ногами или треск колючки, попавшей под каблук, казались неуместно громкими. Алеша даже поймал себя на том, что ему хочется идти на цыпочках.

Удивительный покой стоял над вечерней степью. Пустое, без облаков, небо, до какой-то легкости, почти звонкости высушенное долгим дневным зноем, еще сохраняло в вершине своего купола яркую синеву, но ближе к закатной стороне все более бледнело, желтело и, наконец, становилось странно бесцветным. Казалось, будто там солнце по-прежнему продолжало выжигать вокруг себя все краски, хотя лучи его, нежаркие, вовсе утерявшие силу даже не ощущались кожей лица. Теплый воздух был совершенно недвижен, и подымающийся от разогретой земли слабый запах высохших по-июньски трав явственно ощущался в нем, горьковатый и печальный.

От этого запаха, от уходящего солнца, от медленного молчаливого шага Алешу охватило грустное и томительное чувство, предвестие близкой разлуки. Ему уже не думалось ни об океане, ни о «Дежневе», ни о сказочном походе вокруг света, ни даже о том, что сейчас в разговоре с Ершовым надо решить свою судьбу. Он шел опустив глаза, следя, как распрямляется желтая упругая в своей сухости трава, отклоняемая ногами Ершова, и ему казалось, что вот-вот ноги эти исчезнут где-то впереди и след их закроется вставшей травой, а он останется один, совсем один во всей громадной, пустынной, нескончаемой степи, в которой совершенно неизвестно куда идти, как неизвестно ему было, куда идти в жизни, такой же громадной, нескончаемо раскинувшейся во все стороны.

С такой силой Алеша, пожалуй, впервые почувствовал горькую тяжесть разлуки. Сколько раз прощался он осенью с отцом и матерью, но мысль об одиночестве никогда еще не приходила ему в голову. Он мог скучать по ним, даже тосковать, но вот это чувство — один в жизни — до сих пор было ему совершенно неизвестно. Вдруг столкнувшись с ним, он даже как-то растерялся. Оно оказалось таким неожиданно страшным, наполнило его такой тоскливой тревогой, что он попытался успокоить себя. Ведь ничего особенного не происходит: ну уедет Петр Ильич — останутся мать и отец, которых он любит, с которыми дружит, останется Васька Глухов, приятели в школе... Но тут же его поразила очень ясная мысль, что никому из этих людей он никогда не смог бы признаться в том, в чем готов был сейчас открыться Ершову, и что никто из них не сможет ответить ему так, как, несомненно, ответит Петр Ильич... Вместе с ним из жизни Алеши исчезало что-то спасительное, облегчающее, без него будет невыносимо трудно. Уедет Петр Ильич,

и он останется один. Совершенно один. И это как раз тогда, когда надо всерьез начинать жить...

А как жить... Кем?.. Может быть, эта новая мысль о техникуме — ерундовая, ошибочня мысль и вызвана она только жадным, бешеным желанием не пропустить возможности пошататься по океанам? Ведь почему-нибудь ноет же у него сердце, когда он думает о севастопольских кораблях, о серо-голубой броне и стройных стволах орудий, да как еще ноет! Может быть, сама судьба послала ему это испытание, чтобы проверить, способен ли он быть стойким, убежденным в своих решениях командиром, человеком сильной воли, умеющим вести свою линию, а он... Где у него там воля! Ему скоро шестнадцать лет, а он ничего еще не решил. Все ждет, что кто-то или что-то ему подскажет, поможет, возьмет за ручку и поведет... Небось Пушкин в шестнадцать лет отлично знал, что делать... И Нахимов знал, и Макаров... И Чкалов в том же возрасте уже твердо решил стать летчиком, хотя это казалось недостижимым. Да что там Чкалов! Васька Глухов и тот выбрал себе путь и стойко держится своего... Один он какая-то тряпка, ни два ни полтора: то Фрунзе, то техникум...

— Петр Ильич,— сказал он неожиданно для самого себя.— Вот когда вам шестнадцать лет было, вы кем собирались быть?

Ершов, разжигая трубку, искоса взглянул на Алешу, подняв левую бровь. И в том, как он смотрел — ласково и чуть насмешливо,— и в полуулыбке губ, зажавших мундштук, было что-то такое, от чего Алеша смутился: походило, что Ершов отлично понимал, к чему этот вопрос.

Трубка, наконец, разгорелась, и Петр Ильич вынул ее изо рта.

— Дьяконом,— ответил он и дунул дымом на спичку, гася ее.

Алеша обиделся:

— Да нет, правда... Я серьезно спрашиваю...

— А я серьезно и отвечаю. У меня батька псаломщиком был, только об этом и мечтал.

— Так это он мечтал, а вы сами?

— Я? — Ершов усмехнулся.— Мне шестнадцать лет в девятьсот седьмом году было. Тогда, милый мой, не то, что нынче: ни мечтать, ни выбирать не приходилось. Куда жизнь погонит, туда и топай. Вымолил батька у благочинного вакансию на казенный кошт, отвез меня в семинарию, а оттуда уж одна дорога...

У Алеши понимающе заблестели глаза:

— А вы, значит, убежали?

— Куда это убежал?

— Ну из семинарии... на море!

— Вот чудак! — удивился Ершов.— Как же мне было бежать? Батька у нас вовсе хворый был — он раз на Иордани в прорубь оступился, так и не мог оправиться. Чахотку, что ли, нажил — каждой весной помирать собирался. А нас шестеро. И все, кроме меня, девчонки. Только и надежды было, когда я начну семью кормить. Тут, милый мой, не разбегаешься... Да ни о каком море я тогда и не думал.

— Так почему же вы моряком стали?

— Я же тебе объясняю: жизнь. Приехал я на каникулы, — мы в сельце под Херсоном жили, приход вовсе нищий, с хлеба на квас,— а отец опять слег. Меня к семнадцати годам вот как вымахало — плечи во! — я и нанялся на мельницу мешки таскать, все ж таки подспорье. А отец полежал, да и помер. Меня прямо оторопь взяла: еще три года семинарии осталось; пока я ее кончу, вся моя орава с голоду помрет. Думал-думал, а на мельнице грузчики говорят: «Чего тебе, такому бугаю, тут задешево спину мять? Подавайся в Одессу, там вчетверо выколотишь, а главная вещь — там и зимой работа: порт». Ну, я и поехал. Сперва в одиночку помучился, а потом меня за силу в хорошую артель взяли. Осень подошла — я на семинарию рукой махнул: сам сыт и домой высылаю. А к весне меня на шхуну «Царица» шкипер матросом сманил, тоже за силу. Сам он без трех вершков сажень был, ну и людей любил крупных: парус, говорил, хлипких не уважает. Вот так и началась моя морская жизнь: Одесса — Яффа, Яффа — Одесса; оттуда — апельсины, а туда — что бог даст. Походил с ним полтора годика, ну и привык к воде. С судна на судно, с моря на море — вот тебе и вся моя жизненная линия.

Алеша вздохнул:

— Значит, у вас все как-то само собой вышло... А вот когда самому решать надо...

— А что ж тебе решать? — спокойно возразил Петр Ильич.— Ты уже решил — и на всю жизнь. Да еще батьку переломил — он мне порассказал, какие у вас споры были. Молодец, видать, в тебе твердость есть...

— Какая во мне твердость! — горько усмехнулся Алеша.— Я, Петр Ильич, если хотите знать... Словом, так тут получилось... Ну, вы сами все понимаете...

— Ничего я не понимаю,— прежним спокойным тоном ответил Ершов.

— Чего вы не понимаете? — с отчаянием воскликнул Алеша.— Вы же видите, что я... что мне... В общем, изменник я, вот что! Настоящий изменник: товарищам изменил, школе, военным кораблям, сам себе изменил, своей же клятве...

В голосе его зазвучали слезы, и Ершов, взглянув на побледневшее лицо Алеши, хотел сказать что-то успокаивающее, но тот продолжал говорить — взволнованно, путано, сбивчиво, обрывая самого себя, совсем не так, как собирался вести этот серьезный мужской разговор. Он повторил Ершову все, чем пытался успокаивать и самого себя: конечно, в горкоме комсомола понимают, что не всем морякам обязательно быть военными, в школе же будут просто завидовать и говорить, что ему повезло в мировом масштабе... Даже Васька Глухов, мысль о котором больше всего беспокоила его, и тот, сперва освирепев и наговорив кучу самых обидных вещей, подумав, скажет, что отец очень здорово все подстроил — этот козырь перекрыть нечем и надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой походик... Значит, все как будто хорошо получалось, но почему же у него такое чувство, будто он собирался сделать что-то не то?..

Впрочем, Алеша довольно ясно чувствовал, в чем именно упрекала его совесть. Объяснить это можно было одним словом, но оно никак не годилось для душевного разговора. В нем была официальность и излишняя книжная торжественность, совсем не подходившая к случаю, и сказать его по отношению к самому себе было даже как-то не очень удобно, однако другого он найти не мог.

Это слово было «долг».

Когда оно вошло в разговор, Ершов посмотрел на Алешу с каким-то серьезным любопытством, будто в устах юноши, почти еще подростка, это суровое требовательное слово приобретало неожиданно новое значение. И даже после, слушая Алешу, он то и дело взглядывал на него, как бы проверяя, не ослышался ли.

Между тем ничего особенного тот не говорил. Он рассказывал о том, как два года назад они с Васькой поклялись друг другу стать командирами Военно-Морского Флота («Будто Герцен с Огаревым»,— усмехнувшись, добавил Алеша). Может быть, тогда получилось это по-мальчишески, но с течением времени он стал все яснее понимать и острее чувствовать неизбежно надвигающуюся, неотвратимую опасность войны. Тут и начались его колебания: в глубине души он мечтал о торговом флоте, прельщавшем его дальними плаваниями, а мысль о неизбежности войны и сознание своего долга вынуждали готовиться к службе на военных кораблях. Наконец у него словно камень с души свалился: это было тогда, когда первое знакомство с крейсером в Севастополе победило в нем неясную, но манящую мечту об океанах. Почти год он был спокоен — все шло правильно,— но «Дежнев» опять спутал все.

Понятно, дело сейчас заключалось вовсе не в том, что из-за «Дежнева» он нарушает свою детскую клятву. Все было серьезнее и важнее: ведь, отказываясь стать флотским командиром, он уклоняется от выполнения своего долга комсомольца, советского человека — быть в самых первых рядах защитников Родины и революции. Вот, скажем, если бы он не чувствовал неотвратимого приближения войны с фашизмом (как почему-то не чувствуют этого многие, взять хотя бы отца), если бы не начал с детских лет готовиться к тому, чобы посвятить жизнь военно-морской службе, ну, тогда можно было бы говорить о том, что не всем же быть профессионалами военными и что кому-то надо заниматься и мирными делами. Но раз он видит угрозу войны, понимает ее приближение, для него уход на торговые суда — просто нарушение долга.

И, наверное, поэтому-то у него так нехорошо на душе, хотя, по совести говоря, конечно, «Дежнев» и все, что связано с ним, ему ближе, роднее и нужнее, чем крейсер, о котором он перестал бы и думать, если бы не Васька и его напор. У Васьки ведь все четко, по-командирски, «волево», а на людей это здорово действует. Будь он сам таким, как Васька, наверное, не мучился бы: решил, мол, и все тут! А ему так паршиво, так неладно, прямо хоть отказывайся от «Дежнева»... И, может быть, действительно, так и надо сделать, чтобы все опять пошло правильно, но на это не хватает ни силы, ни решимости... И получается снова, как раньше: ни два ни полтора... В общем, зря отец все нагородил: Петра Ильича вызвал. «Дежнева» подстроил... Он, наверное, хотел помочь ему решиться, подтолкнуть его, но беда-то в том, что отцу никак не понять одной важной вещи: он все думает, что мысль о военном флоте у него — блажь, детское упрямство, когда на самом деле это необходимость, обязанность, долг... Раньше он, Алеша, и сам не очень понимал это и разобрался во всем, пожалуй, именно из-за «Дежнева». Выходит, что «Дежнев» сработал совсем не так, как ожидал отец. Ну что ж, так ему и надо: ты борись по-честному, убеждай, доказывай... А «Дежнев» — это просто свинство; за такие штуки с поля гонят. Это же запрещенный прием!..

Ершов впервые за разговор усмехнулся.

— Ну, уж и свинство... Просто тактика. И батька твой тут ни при чем. «Дежнева» я тебе подсунул.

Алеша даже остановился:

— Вы?

— Ну да. Уговор у нас с ним был только агитацию наводить, с тем я и ехал. А узнал тебя поближе, смотрю — паренек

стоящий, зачем нам морячка уступать?.. Вот и решил для верности забрать на походик, а в океане ты сам поймешь, зачем на свет родился...

Искренность, с которой Ершов открыл карты, поразила Алешу, и он почувствовал в горле теплый комок. Что за человек Петр Ильич, до чего же с ним легко и просто! А Ершов, посасывая трубку, продолжал с мягкой усмешкой:

— Так что на батьку своего ты не злись. Он, во-первых, человек умный, а во-вторых, очень тебя любит. Чего он добивается? Чтоб ты дал сам себе ясный отчет: чего же хочешь от жизни? И, пожалуй, он прав. Сам посуди: можно ли тебе уже верить как человеку сложившемуся, если ты увидел крейсер и решил: «Военная служба», а показали «Дежнева»,— наоборот: «Иду на торговые суда»!

— Не дразнитесь уж, Петр Ильич,— умоляюще сказал Алеша,— и сам знаю, что я тряпка!

— Да нет, милый, не тряпка, а, как говорится, сильно увлекающаяся натура. Тряпка — это человек безвольный, неспособный к действию, а ты вон как руля кладешь — с борта на борт! Только, по-моему, ты и сейчас на курс еще не лег. Раз тебя что-то там грызет — значит, нет в тебе полной убежденности, что иначе поступить никак нельзя. А раз убежденности нет, какая же решению цена?

— А как же узнать — убежденность это или еще нет? — уныло спросил Алеша.— Вон после Севастополя уж как я был убежден!

Ершов успокоительно поднял руку:

— Не беспокойся, узнаешь! Само скажется. И ничего тебя грызть не будет, и никакие сомнения не станут одолевать, и на всякий свой вопрос ответ найдешь, а не найдешь, так ясно почувствуешь, что иначе нельзя, хотя объяснить даже и самому себе не сможешь... А разве тогда у тебя так было?

— Нет,— честно признался Алеша.

— То-то и есть. Кроме того, когда человек убежден, он просто действует, а не копается в себе. Колеблется тот, кто еще не дошел по убежденности. Вот и ты: раз еще думаешь — так или этак,— значит, решение в тебе не созрело, ты сам ни в чем еще не убежден. Ну и подожди. Решение придет.

— А если не придет?

— А это тоже решение,— улыбнулся Петр Ильич,— только называется оно «отказ от действия». Но ты-то, повторяю, не тряпка и решение свое обязательно найдешь. Не сам отыщешь, так жизнь поможет. Вот для того я тебе «Дежнева» и подсунул: поплавай, осмотрись, примерься...

— Так что же тут примеряться, Петр Ильич,— вздохнул Алеша,— раз «Дежнев» — значит, с боевыми кораблями — все...

— Почему же это?

Алеша запоздало спохватился, что заговорил о том, чего вовсе не собирался касаться.

— Ну, так уж оно получается,— уклончиво ответил он.

Ершов пожал плечами.

— Уж больно решительный вывод. Для того тебе «Дежнева» и предполагают, чтобы ты разобрался.

— Да, Петр Ильич, мне не там разбираться надо, а здесь. Ведь пойду на нем плавать — на крейсер уж никак не вернусь.

— Вон как! Что же тебе «Дежнев» — монастырь? Постригся — и всему конец, так, что ли?

— Не очень так, но вроде,— принужденно усмехнулся Алеша.— Ну, в общем, решать все приходится именно теперь, а не в плавании...

— Непонятно, почему. Говори прямо, что-то ты крутишь!

— Так я же и говорю: раз «Дежнев» — это уже не на лето, а на всю жизнь...

— Вот заладил! — недовольно фыркнул Ершов.— Да кто тебя там держать будет? Ну, почувствуешь, что это не по тебе или совесть тебя загрызет,— сделай милость, иди в училище Фрунзе! При чем тут «на всю жизнь»!

Алеша невольно опустил глаза и замедлил шаг, чтобы, несколько отстав от Ершова, скрыть от него свое смущение и растерянность. Ответить что-либо было чрезвычайно трудно.

Дело заключалось в том, что у него был свой тайный расчет. Довольно быстро поняв, что предложение пойти в поход на «Дежневе» было ловушкой, Алеша решил использовать хитрость отца в своих собственных целях. Для этого следовало делать вид, что ничего не замечаешь, согласиться «поплавать летом», а потом как бы неожиданно для себя очутиться перед фактом невозможности попасть к экзаменам в Ленинград и — ну раз уж так вышло! — волей-неволей идти в мореходку в самом Владивостоке... Тогда получилось бы так, будто профессию торгового моряка он выбрал не сам, а принудили его к тому обстоятельства. Иначе говоря, Алеша старался сделать то, что делают очень многие люди: избежать необходимости самому решать серьезнейший вопрос и свалить решение на других. Поэтому-то он и молчал, не зная, что ответить, так как ему приходилось либо откровенно сознаться в своем тайном и нечестном замысле, либо солгать.

И он собрался уже сказать что-нибудь вроде того, что он-де недодумал, что Петр Ильич, мол, совершенно прав,— словом,

как говорится, замять разговор и отвести его подальше от опасной темы. Но опущенный к земле взгляд его опять заметил, как распрямляется трава, отклоняемая ногами Ершова, закрывая следы, и сердце снова невольно сжалось тоскливым и тревожным чувством, что вот-вот следы эти исчезнут и он останется один на один с собою, а разговор этот нельзя уже будет ни продолжить, ни возобновить целый долгий год. И ему стало безмерно стыдно, что драгоценные последние минуты он готов оскорбить фальшью или ложью... Нет уж, с кем, с кем, а с Петром Ильичом надо начистоту, без всяких уверток...

Одним широким шагом Алеша решительно нагнал Ершова и взглянул ему прямо в лицо.

— Петр Ильич, да как же я «Дежнева» после такого похода брошу? — воскликнул он в каком-то отчаянии откровенности.— Я еще ни океана не видел, ни одной мили не прошел, а о крейсере и думать перестал. Что же там будет? Ну ладно, предположим, на «Дежневе» решу, что все-таки надо идти в училище Фрунзе. Так ведь, Петр Ильич, я же не маленький и отлично понимаю, что к экзаменам никак не поспею. Это же факт: хорошо, если к сентябрю вернемся! Значит, год я теряю. А что я этот год стану делать? Дома сидеть? Или опять на «Дежневе» плавать? А зачем, если решил на военный флот идти? Так, для развлечения, потому что время есть? Нет, Петр Ильич, я верно говорю: раз «Дежнев» — значит, на всю жизнь. Да вы и сами это понимаете... Вот я решил, честное слово, решил: иду в мореходку — и очень доволен, что именно так решил, все правильно! Вот только внутри что-то держит, не пускает. То есть не что-то, а чувство долга, я уже сказал... И так мне трудно, Петр Ильич, так трудно, и никто мне помочь не сможет, кроме меня самого... А что я сам могу?..

Он махнул рукой и замолчал. Ершов тоже помолчал, разжег потухшую трубку, потом серьезно заговорил, взглядывая иногда на Алешу, который шел рядом, снова опустив голову.

— Вот ты сказал — долг. Попробуем разобраться. Долг — это то, что человек должен делать, к чему его обязывает общественная мораль или собственное сознание. Воинский долг — это обязанность гражданина ценой собственной жизни с оружием в руках защищать свое общество, свою страну. У нас и в Конституции сказано, что это священная обязанность. От этой священной обязанности ты никак не уклоняешься, если идешь на торговый флот. Ты и сам знаешь, что там тебя обучат чему нужно и сделают командиром запаса Военно-Морского Флота, а во время войны, если понадобится, поставят на мостик военного корабля. Выходит, что ты своему воинскому

долгу ничем не изменяешь. Тебе и самому, конечно, это ясно, и говоришь ты, видимо, совсем о другом долге. Не о долге советского гражданина, а о своем, лично к которому обязывает тебя не общественная мораль, а собственное понимание исторического хода вещей. Так, что ли?

— Так,— кивнул головой Алеша.

— Тогда давай разберемся, что именно ты считаешь для себя должным. Я так понял, что ты очень ясно видишь неизбежность войны с фашизмом. Ты даже считаешь, что видишь это яснее других. Те, мол, не понимают этой неизбежности и потому могут спокойно заниматься строительством, науками, обучением детей, даже искусством. А ты знаешь, что́ ожидает и всех этих людей, и все их труды, и не можешь ни строить, ни учить, ни плавать по морям с грузами товаров, потому что тобой владеет ясная, честная, мужественная мысль: ты должен стать тем, кто будет защищать и этих людей, и их мирный труд. Ну, а раз так, то надо научиться искусству военной защиты. А этому, как и всякому искусству, учатся всю жизнь. Следовательно, надо получить военное образование и стать командиром, то есть посвятить этому важному, благородному делу всю свою жизнь. Вот это ты и считаешь своим долгом, который обязан выполнить, а если уйдешь на торговые суда, то изменишь своему долгу. Так?

— Так,— снова кивнул Алеша, с нетерпением ожидая, что будет дальше. Ему показалось, что если уж Петр Ильич так здорово разобрался в его мыслях — значит, наверняка знает и какой-то облегчающий положение выход. Он даже поднял глаза на Ершова, как бы торопя его.

Но тот неожиданно сказал:

— Ну, раз так, тогда ты совершенно прав: никто тебе не поможет, кроме тебя самого.

На лице Алеши выразилось такое разочарование, что Ершов усмехнулся, но закончил снова серьезно:

— А как же иначе? Сам ты этот долг на себя принял, сам только и можешь снять. Вот если на «Дежневе» ты поймешь, что в жизни может оказаться и другой долг, не менее почетный и благородный, который заменит для тебя тот, прежний, тогда все эти упреки исчезнут. Во всех остальных случаях они тревожить тебя будут, и ничего с этим не поделаешь, сам ли ты себя уговаривать станешь, другие ли тебе скажут: «Да иди ты, мол, плавать, не думай о военном флоте!» Это все равно что о белом медведе не думать.

— О каком медведе? — растерянно спросил Алеша, занятый своими мыслями: получалось, что все опять валилось на него самого, даже Петр Ильич не знает, чем помочь.

— Это знахарь один мужика от грыжи лечил: сядь, говорит, в угол на корточки, зажмурь глаза и сиди так ровно час, через час вся болезнь выйдет. Только, упаси бог, не думай о белом медведе, все леченье спортишь. Вот тот весь час и думал, как бы ему не подумать невзначай о белом медведе. Нет, уж если тебя лечить, так совсем наоборот: надо, чтоб ты о своем белом медведе побольше думал. Вот тебе на «Дежневе» время и будет. Кто знает, вдруг ты там обнаружишь, что не такой уж это великий соблазн — океанское плавание, чтобы ради него поступиться своим долгом. Да и своими глазами увидишь старый мир, которого ты и не нюхал, а это для политического развития — занятие весьма полезное. Возможно, к твоей мысли о неизбежности войны кое-что и добавится, укрепит ее. Убедит тебя в своей правоте, что не путешествиями по морям-океанам надо развлекаться, а всерьез к защите готовиться... Может так случиться, что тут-то настоящая убежденность в тебе и возникнет. Правда, цена этому — потерянный год. Но, во-первых, это вовсе не потеря, а приобретение морского опыта, который и командиру пригодится. А во-вторых, одно другого стоит: ну, станешь командиром годом позже, зато настоящим командиром, убежденным в том, что другого дела ему в жизни нет. Вот так-то, милый мой: уж коли на всю жизнь — давай всерьез и решать, то есть не сейчас, а своевременно, и не вслепую, а с открытыми глазами... Ну, что-то наш «газик» застрял, уж солнце садится.

Петр Ильич остановился и обернулся к машине. Они отошли уже довольно далеко, но можно было различить, что Федя копошится почему-то не в моторе, а под «газиком», лежа на земле.

— Вон что твой чий наделал, этак еще и к поезду опоздаешь,— укоризненно покачал головой Ершов.— А впрочем, в машине мы бы по душам не поговорили... Ну, так что ты молчишь? Видно, не согласен с тем, что я говорю?

— Да нет, наверное, согласен,— раздумчиво ответил Алеша.— Видимо, все это правильно...

— Энтузиазма не отмечается,— улыбнулся Ершов и, полуобняв Алешу, ласково встряхнул его за плечи.— Эх ты, многодумный товарищ! Не мучайся ты никакими изменами, до измены еще очень далеко! И пойми простую вещь: от «Дежнева» тебе отказываться никак нельзя. Лучше от того не будет ни тебе, ни военному флоту, наоборот, тебе испортит жизнь, а флоту — командира. Как бы ты ни любовался собой — вот, мол, чем пожертвовал для идеи! — а внутри будешь себя проклинать,— значит, и служить не от души станешь. Пройдемся еще, нагонит...

Они медленно двинулись вдоль накатанной колеи дороги. Солнце, ставшее теперь громадным багровым шаром, уже коснулось нижним краем горизонта и начинало сплющиваться; небо над ним постепенно приобретало краски — желтую и розовую, густеющие с каждой минутой, и неподалеку от солнца заблистало расплавленным золотом невесть откуда взявшееся крохотное круглое облачко.

Рассеянно глядя на него, Алеша шел молча, пытаясь разобраться в себе. Странно, но беседа эта успокоила его, хотя он сам лишил себя уловки, облегчавшей его положение, и теперь вынужден был решать действительно сам — по-честному, не сваливая на других. Удивительно радостное чувство облегчения возникало в нем, и он понимал, что этому чувству неоткуда было бы взяться, не появись в его жизни Петр Ильич.

Капитан, шагавший рядом тоже молча, сказал вдруг тоном сожаления:

— А с «Дежневым»-то я, кажется, и в самом деле что-то неладное наворотил. Видишь ли, я думал, дело обычное: ну, играет мальчик в пушечки, предложить ему пройтись по трем океанам — вопрос и решен. Никак не мог я предполагать, что у тебя с крейсером так всерьез. И может, зря я тебе душу смутил, не надо было в твою жизнь соваться. Уж ты меня извини. Пожалуй, «Дежнев», честно говоря, и вправду свинство...

Признание это прозвучало так откровенно и просто, так по-товарищески, что у Алеши дрогнуло сердце.

— Петр Ильич,— сказал он, подняв на капитана блестящие от волнения глаза и всячески стараясь говорить спокойно и сдержанно,— Петр Ильич, вы даже сами не знаете, как все правильно получилось... Очень здорово все вышло! Ну, в общем, конечно, в поход я пойду, а там выяснится, куда мне жить...

Алеша хотел сказать «куда идти», но слова сейчас отказывались его слушаться. Однако нечаянное выражение ему понравилось, и он повторил его уже сознательно:

— Я ведь все пытался решить тут, теперь же, куда жить. А разве здесь угадаешь? Если бы не вы, я бы никогда этого не понял... Так что я вам очень... ну, очень благодарен... И за то, что приезжали, и за все...

— Добре. Тогда хорошо, а то я уж подумал: вдруг все тебе напортил,— сказал Ершов и улыбнулся.— Ну, давай в степи зеленый луч искать!

Алеша рассмеялся. Они остановились, провожая взглядом солнце. Багровая горбушка его быстро нырнула за край степи без всякого намека на изменение цвета.

— Считай: раз!...— поддразнил Петр Ильич.— Когда уви-

дишь, телеграфируй: мол, на пятьсот сорок втором наблюдении замечен зеленый луч. В науку войдешь...

Сзади раздался хриплый сигнал «газика», и оба одновременно обернулись.

— Что ж ты застрял? — недовольно спросил Алеша, когда Федя затормозил возле них.— Минутное дело — карбюратор продуть, а ты...

— Болтик упал,— хмуро пояснил Федя.— Тут же трава. Пока всю степь на пузе облазал — вот тебе и минутное дело... Хорошо еще, нашел, а то прошлый год...

— Ну ладно, поехали, поехали! Жми на всю железку. Петр Ильич беспокоится — поезд...

— Поспеем,— ответил Федя, но едва они сели, должно быть, и впрямь нажал на всю железку: «газик» с места помчался по темнеющей степи так, что у обоих захватило ветром дыхание.

Первые три недели после отъезда Ершова прошли для Алеши в удивительном внутреннем покое. Правда, вначале он все боялся, что та радостная уверенность в будущем, которая возникла в нем тогда, в степи, вот-вот исчезнет. Но, к счастью, необыкновенное это состояние не проходило, а, наоборот, с каждым днем все более крепло, становилось своим, привычным. Вскоре Алеша заметил, что оно как бы обновлялось всякий раз, когда он начинал думать о той беседе с Петром Ильичом. Тогда в сердце подымалась теплая волна, а в сознании возникала не очень ясная, но растроганная, благодарная и словно бы улыбающаяся мысль — как здорово все получилось и до чего же правильно, что есть на свете Петр Ильич Ершов, капитан дальнего плавания! — и не успевал он додумать это до конца, как чувство радостного спокойствия и уверенности овладевало им еще с большей силой.

Впервые Алеша мог смотреть в будущее без тревожного беспокойства. Все теперь представлялось ему простым, осуществимым, возможным, только бы иметь в этом будущем рядом с собой Петра Ильича, чтобы всегда можно было получить ответ, пусть иногда насмешливый, но всегда объясняющий и потому спасительный. И тогда ждущая впереди жизнь, сложная, полная трудно выполнимых требований, непонятная еще жизнь, станет простой и ясной, не будет ни сомнений, ни колебаний...

Но об этом, так же как и о беседе с Петром Ильичом и об их уговоре, Алеша не говорил ни отцу, ни Анне Иннокентьевне. Что-то мешало ему быть откровенным: та ли внутренняя целомудренность, которая препятствует порой человеку говорить о некоторых движениях души даже с очень близкими людьми, суеверная ли боязнь, что драгоценное для него новое чувство

тотчас улетучится, если о нем сказать вслух, а может быть, просто ревнивое мальчишеское желание скрыть от всех замечательные свои отношения с Петром Ильичом. Так или иначе, дома и не подозревали, что он решился отказаться от мысли о военном флоте.

Тем более не касался он всего этого при встрече с Васькой Глуховым, к которому собрался лишь на десятый день. Он не только не поделился с ним новостью о «Дежневе» (Петр Ильич на прощание посоветовал держать ее при себе до того, как подтвердится возможность устроить его юнгой), но даже о самом пребывании у них такого необыкновенного гостя сообщил вскользь, мимоходом. Вообще встреча приятелей, первая за это лето, прошла как-то вяло. По обыкновению, они сразу же пошли на «вельботе» в поход, но к ночи вернулись: игра явно потеряла свою увлекательность — не то оба выросли, не то Васька чувствовал, что Алеша что-то недоговаривает, а тот с трудом заставлял себя держать обещание, данное Ершову.

Поэтому утром он с облегчением сел на велосипед и отправился домой, увозя, впрочем, ценнейшую для него сейчас добычу: атлас мира, только что полученный по подписке Васькиным отцом. Едва перелистав карты, Алеша тут же выпросил его на недельку, соврав, что готовит к осени доклад на военно-морском кружке о стратегических базах империалистических флотов. Атлас был необычайного формата, размером с газетный лист, и его никак не удавалось пристроить ни к багажнику, ни к раме. Алеша решился было держать его всю дорогу под мышкой, но Васька предложил ему «присобачить» атлас на спину вроде панциря черепахи. Сравнение это Алеша оценил уже на втором часу езды, когда скорость велосипеда заметно снизилась, но нисколько не раскаивался в том, что повез этот громадный фолиант.

Атлас стал первым его другом и собеседником. Алеша мог сидеть наедине с ним целыми часами, изучая вероятный маршрут «Дежнева» и стараясь вообразить, что́ таят в себе условные очертания островов, капризные зазубрины береговой черты, алые извивы теплых течений, синие пучки трансокеанских линий, мелкий шрифт бесчисленных названий. Скоро у него появились свои любимцы. Это была, во-первых, «Карта океанического полушария», построенная в такой хитрой проекции, что на нее попали лишь белое пятно Антарктиды, куцый хвостик Южной Америки да Австралия с Новой Гвинеей и Борнео. Все же остальное пространство этой половины земного шара было залито благородной и вольной синевой трех океанов — Тихого, Атлантического, Индийского, и когда Алеша всматривался в нее, у него захватывало дух: так величественна и гро-

мадна была эта соленая вода, где темнели километровые глубины глубокой голубизной сгущенной краски.

Другим любимцем оказалась «Карта каналов и проливов». Каналы Алешу не очень интересовали, а вот проливы... Крупными бесценными жемчужинами они нанизывались на то волшебное ожерелье, которым путь «Дежнева» охватывал евразийский материк от Ленинграда до Владивостока: Зунд, Каттегат, Скагеррак, Па-де-Кале, Ла-Манш, Мозамбик, Малаккский, Сингапурский, Фуцзянский, Цусимский... Названия эти звучали, как стихи. Глядя перед собой затуманенным мечтою взглядом, Алеша повторял их наизусть, и перед ним, накренясь, неслась по крутым волнам шхуна под штормовым вооружением. Впрочем, она была не видением грезы, а картинкой на этикетке того флакона, который позабыл Петр Ильич или просто бросил, так как одеколону в нем было чуть на донышке. Алеша нашел его по возвращении со станции и тут же поставил к себе на стол. Порой он вынимал пробку, удивительный корабельный запах снова распространялся по комнате, и тогда казалось, что Петр Ильич бреется у окна и за спиной вот-вот раздастся его рокочущий голос.

Вскоре Алеша не на шутку начал тосковать по нему и потому страшно обрадовался, когда, наконец, пришло из Ленинграда письмо.

В нем Ершов суховато сообщал Сергею Петровичу, что обстановка несколько изменилась: его срочно посылают в рейс, не очень длительный, хотя и хлопотливый, отчего ему пока не пришлось разузнать, как будет с Алешей, но так как капитаном «Дежнева» он остается, то по возвращении надеется все уладить и получить согласие начальства.

В письме ясно чувствовались какие-то недомолвки. И тот внутренний покой, в котором жил Алеша все это время, исчез. Начало казаться, что с «Дежневым» ничего не получится: начнут гонять Петра Ильича с рейса на рейс, а там и вовсе забудут, что он капитан «Дежнева»... Алеша совсем было загрустил, но через два дня пришла открытка, адресованная уже прямо ему. На ней был белый медведь, житель Московского зоопарка, и короткая шутливая фраза: «Не думай о нем — и болезни конец!» Открытка была послана из Одессы, и Алеша понял, что это прощальный привет перед выходом в рейс. Он повеселел, посмеялся над своими опасениями насчет «Дежнева» и с прежним увлечением вернулся к атласу; отвезти его в погранотряд он никак не мог решиться, хотя обещанная «неделька» давно кончилась. Приближалось Васькино рождение, и он решил еще задержать атлас: не ездить же два раза подряд!

Утром седьмого августа он засел за атлас сразу же, как проснулся, чтобы напоследок заняться им всласть. Он попрощался со своими любимцами, еще раз проследил весь свой будущий путь, изученный уже основательно, и стал переворачивать одну страницу за другой. В этом занятии он не слышал, как в комнату вошел отец, и поднял голову только тогда, когда тот положил ему на плечо руку.

Сергей Петрович был бледен, губы у него как-то странно прыгали.

— Алеша,— сказал он негромко, не глядя на сына.— Письмо тут пришло. Из Ленинграда.

У Алеши вдруг пересохло горло. Он молча смотрел на отца, торопя его взглядом.

— Петр Ильич погиб,— с трудом сказал Сергей Петрович и почему-то добавил: — Значит, вот так.

Он положил на атлас листок почтовой бумаги. Алеша прочитал короткое письмо, подписанное незнакомой фамилией, ничего не понял, заставил себя сосредоточиться и прочел еще раз. Только тогда до него начал доходить смысл.

Кто-то сообщал, что судно, которое Петр Ильич повел в рейс из Одессы в Барселону с грузом продовольствия для испанских детей, было торпедировано фашистской подводной лодкой. Четырех человек подобрал позже французский пароход, и эти люди рассказали, что взрыв пришелся прямо под мостиком, где был капитан.

Листок продолжал лежать на карте. По верхнему полю ее тянулся длинный заголовок: «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности». Алеша механически прочел эти слова несколько раз подряд и потом, избегая глядеть на листок, закрывавший Гренландию, перевел взгляд на середину карты, привычно следя за движением «Дежнева» вдоль берегов Европы и Африки.

Но все было залито кровью. Средиземное море, Бискайский залив, сам Атлантический океан — все было разных оттенков красного, кровавого цвета. Местами вода темнела сгустком свернувшейся уже крови, местами алела, словно текла из свежей раны. Везде, куда ни смотрел Алеша, была кровь. Материки купались в крови. Только безлюдная Арктика и такая же безлюдная Антарктида выделялись белыми и желтыми пятнами. Вода нигде не была синей. Нигде не было благородной вольной синевы океанов. Материки купались в крови. Это что-то напоминало, что-то такое уже было. Ах да, бойня. Синей воды нет. В воде мины. А где плавать? В воде подлодки. Плавать-то где? Но почему все-таки все кровавое — и Атлантика, и Тихий? Ах, да. Это же средняя температура июля, а в июле

жарко. Но войны же нет? Почему же взрыв прямо под мостиком, где был капитан? Ох, как хочется заплакать, а почему-то не хочется плакать! «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности»... Жалко, что с «Дежневым» теперь уж не выйдет. Надо не об этом жалеть, а о Петре Ильиче. В общем, нужно, наверное, что-то сказать: стоит, ждет. Наверное, ему тяжело, все-таки друзья давно. «Средние температуры воздуха...»

— Ну, в общем, что ж тут сделаешь,— сказал, наконец, Алеша чужим голосом.— Наверное, ничего уже сделать нельзя. Я поеду. Обещал Ваське.

Он осторожно взял листок и, не глядя, отдал отцу. Потом закрыл атлас, но руки его не слушались — громадный альбом двинулся по столу и углом толкнул флакон со штормующей шхуной на этикетке. Флакон упал на пол, и тотчас же по комнате распространился удивительный корабельный запах смоленого троса, угольного дымка, свежей краски. Алеша ахнул и кинулся к флакону. Горлышко его было отбито, и последние капли одеколона вытекали на пол, пропадая в щелях досок. И, словно только сейчас поняв то, что произошло, Алеша упал лицом на флакон и зарыдал отчаянно, безудержно, бурно, не видя и не понимая ничего, кроме своего страшного, громадного, давящего горя.

Очнулся он в объятиях матери. Она не говорила никаких успокоительных слов,— она просто гладила его по голове и порой наклонялась к нему, легко касаясь губами затылка, но постепенно Алешей овладевала усталость и тяжелый, нерадостный покой. Он в последний раз судорожно всхлипнул, потом встал и пошел к умывальнику.

— Так я все-таки поеду к Васе,— сказал он, входя с полотенцем в руках.— Ты не беспокойся, все уже прошло.

— Когда вернешься?

— Не знаю. Дня через три, как всегда.

— Если лучше, поезжай.

Алеша долго с неестественной аккуратностью обертывал атлас газетами, потом привязал к нему лямку и перекинул ее через плечо. Анна Иннокентьевна вышла его проводить.

За совхозной рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, вполнеба, туча.

— Алешенька, остался бы,— сказала мать, беспокойно глядя на него,— куда ж ты поедешь, гроза же непременно будет!..

— Надо, мама,— ответил он с непривычной для Анны Иннокентьевны твердостью.— А вот дождевик, пожалуй, возьму.

Он снял в сенях брезентовый плащ, затянул его в ремни багажника, обнял мать и уехал, придерживая локтем громозд-

кий свой груз. Лохматый Буян увязался было за велосипедом, но, раздумав бежать по такой жаре, гавкнул: «Счастливого пути!» — и опять развалился в пыли, высунув язык.

Анна Иннокентьевна долго стояла у крыльца, глядя вслед. Дорога начиналась в самом совхозе, уходя в степь прямой стрелой, и Алешу видно было до тех пор, пока он не превратился в пятнышко, различить которое на черном фоне тучи стало уже невозможно. Но, и потеряв его из виду, она все еще с тяжелым и тревожным чувством всматривалась в темную громаду, которая как бы поглотила в себе ее сына.

Туча и в самом деле была необычайна. Черно-коричневая внутри и серо-фиолетовая по краям, она вылезала из-за горизонта, словно какое-то гигантское чудовище, готовое навалиться на степь, чтобы крушить, ломать, давить все, что окажется под тяжелым его брюхом. В мрачных недрах ее что-то пошевеливалось, ворочалось, будто перед тем, как начать разрушительные действия, там разминались под толстой кожей могучие мышцы. Солнце освещало тучу сбоку, и потому громадная объемность ее хорошо ощущалась и шевеление это было особенно заметно: из середины к краям выползали переваливающиеся клубы, уплотнялись и, в свою очередь, выпускали из себя новые клубящиеся массы, непрерывно увеличивая размеры тучи. Порой в ее толще чуть видимой тонкой нитью голубого света сверкали беззвучные молнии.

И это пошевеливание, и эти мгновенные молнии, и неостановимое увеличение размеров — все было угрожающим, зловещим, бедственным. И хотя над совхозом солнце светило ярко и беспечно, небо бездонно голубело и жаркий ленивый воздух не двигался, было понятно, что далекая эта безмолвная еще туча в конце концов нависнет и над совхозом и что гроза обязательно будет. А Алеша, конечно, попадет в нее гораздо раньше.

Но не это тревожило Анну Иннокентьевну. Вещим сердцем матери она чуяла, что тяжелый нынешний день произвел в Алеше какой-то неизвестный ей переворот. Четверть часа тому назад на коленях ее лежал рыдающий мальчик, которого можно успокоить ласковым объятием, а сейчас на велосипед сел мужчина, принявший свое, мужское решение, о котором она не знала, но которое ощущала во всем: и в твердом его тоне, и в том, что он поехал навстречу грозе, хотя, видимо, она будет страшной. Но ни удержать, ни вернуть его было уже не в ее силах.

И она стояла у крыльца, глядя в степь, где давно уже исчез Алеша, стояла и глядела, как через несколько лет будут стоять и глядеть вслед своим сыновьям сотни тысяч матерей...

Догадка ее была верна. Конечно, по степи навстречу грозе ехал уже не прежний Алеша. Теперь, когда первое тупое ошеломление горем прошло и первая судорога отчаяния отпустила сердце, он мог уже осмыслить происшедшее. Он мужественно попытался определить размеры своего несчастья. Они были невозможно громадны: только что сломалась вся его будущая жизнь. Потерян друг, первый взрослый друг. Рухнула мечта об океанах. Думать об этом было так же ужасно, как и бесполезно.

Тогда он заставил себя думать о будущем. Что же делать и куда теперь жить? Но он никак не мог представить себе будущего. Еще утром оно было видно вперед на целые годы, до диплома штурмана дальнего плавания во всяком случае, а сейчас... Дальше сегодняшнего вечера мысли его не шли. Вот приедет к Ваське, расскажет все, может быть, тогда что-нибудь станет ясно. Но что может сказать Васька? Нет, надо искать самому. Никто ему не поможет, кроме него самого. Петр Ильич верно сказал. Значит, надо думать.

И Алеша думал — настойчиво, стиснув зубы, наперекор всему, что болело в сердце и повергало в отчаяние. Подобно погорельцу, который, бродя по пожарищу, отыскивает, что же уцелело от огня, он искал в своей опустошенной душе то, с чем можно было продолжать жить.

Сперва ему казалось, что найти хоть что-нибудь годное среди обломков детства, взорванного час тому назад, невозможно. С печальным удивлением он вспоминал клятву на озере, серо-голубой севастопольский крейсер, спор с отцом в сосновом бору, военно-морской кружок, хлопоты с Васькой в горкоме о путевках... Все это было наивным, мальчишеским, все было звеньями распавшейся цепи. Потом в сознании его всплыло суровое и требовательное слово «долг». И тогда звенья эти неожиданно стали соединяться. Задымленные взрывом, залитые кровью, они снова складывались в цепь, порвать которую было уже невозможно.

Мысль за мыслью, довод за доводом в нем созревало решение. Оно не было новым. Новой была та убежденность, которую Алеша впервые в жизни ощущал в себе всем своим существом и о которой, наверное, и говорил ему Петр Ильич. Вот она и пришла, пришла сама, и он тотчас угадал ее, как те, кто никогда еще не испытали любви, угадывают ее приход. Ни в объяснениях, ни в доводах не было надобности. Была одна чрезвычайная простота: иначе — нельзя. Вот и всё, все доводы и доказательства. Он знал, что другого для него в жизни нет.

Нет — потому, что в жизни нет жизни. Нет — потому, что делать, создавать, совершенствовать что-либо немыслимо, если

над тобой, над всей жизнью висит вот такая набухшая молниями туча. Она не может развеяться, она должна разразиться грозой, которая уничтожит все, что ты делал, убьет твоих друзей и тебя. «Гроза же непременно будет»,— сказала мать. Удивительно, как люди видят грозу и не видят войны. Она вроде этой тучи. Ведь где-то там, у озера, уже гремит гром, льет ливень, и если здесь еще жара и солнце, так это не значит, что грозы нет. Впрочем, и сам он не понимал этого до сих пор. «Война непременно будет» — вот что он понимал. А оказывается — не будет, а есть. И все дело лишь в том, успеет ли он занять свое место в строю, когда туча придвинется сюда, где солнце и тишина.

Так решающий этот час в жизни Алексея Решетникова навсегда связался в его представлении с видением зловещей тучи, в недрах которой шевелилась мрачная сила и проблескивали молнии.

Год за годом война придвигалась. Там, где он жил и учился, была тишина и солнце, а где-то далеко, у озера Хасан, молния уже убивала и гром разрушал. Потом все чаще стали сверкать вокруг эти молнии, предвещавшие близость грозы: на реке Халхин-Гол, у Карпатских гор, в снегах Карельского перешейка,— пока июньской короткой ночью не разразился разрушающий, смертоносный ливень бомб и снарядов.

Глава 5

Если в купе железнодорожного вагона потолок понизить до уровня багажных полок, само купе расширить настолько, чтобы между спальными полками разместились вдоль окна еще две, одна над другой, а свободное пространство занять столом с опускными крыльями и двумя узенькими шкафиками у дверей,— в точности получится кормовое помещение сторожевого катера, носящее громкое наименование «кают-компания».

Как известно, кают-компания предназначается для принятия пищи, для отдыха, для занятий, но уж никак не для ночлега. Поэтому на катерах это помещение следовало бы называть просто шестиместным кубриком, ибо здесь по малости катера отведены места для сна боцману, старшине-минеру и старшине-радисту на нижних диванчиках и трем матросам — на верхних. Но поскольку на день верхние койки опускаются, образуя собой спинки дивана, уютно расположенного в виде буквы «П» вокруг стола, за которым можно обедать, пить чай или играть в шахматы и писать письма, то помещение это в конце концов исправно выполняет функции нормальной кают-компании.

Сходство с железнодорожным купе на решетниковском катере подчеркивалось еще и тем, что на ходу вся кают-компания тряслась мелкой непрерывной дрожью.

Это досадное свойство не было врожденным недостатком «СК 0944»,— он получил его в бою, подобно нервному тику после серьезной контузии. На больших оборотах правый гребной вал его приобретал надоедливую вибрацию, что сильно огорчало механика катера главного старшину Быкова, которому всякая неполадка в машине была как нож острый. В каких только переделках не побывал катер,— кажется, нельзя было найти на нем хоть один механизм, кабель или прибор, который так или иначе не пострадал бы в бою,— но все это было залечено, исправлено и доведено «до нормального порядочка» пожженными и изуродованными быковскими руками, умными и неутомимыми. И только эта контузия не поддавалась их искусству: для ликвидации «трясучки» катер следовало поднять на береговой эллинг, что можно было сделать только в главной базе, а это отняло бы много времени. Катер продолжал ходить с «трясучкой», которая почти не сказывалась ни на скорости, ни на стрельбе. Но каждый раз, когда с мостика давали телеграфом «самый полный» и стрелка тахометра подползала к тому проклятому числу оборотов, при котором корму катера начинала трясти лихорадка хуже малярийной, Быков мрачнел и демонстративно переходил из отсека бортовых моторов к своему любимцу — среднему мотору, который, как и полагается всякому кореннику, отличался от горячих и своенравных пристяжных добросовестностью в работе и уравновешенностью характера.

Особенно сильно сказывалась эта тряска в корме, то есть в кают-компании. Все предметы на столе, позвякивая или побрякивая, бойко передвигались по линолеуму в разнообразных направлениях, пока не упирались в медный бортик по краям стола, специально сделанный Быковым. Поэтому многие из функций кают-компании на походе отпадали. Писать письма, например, было бы неосторожно: родные, увидев дрожащий почерк и наскакивающие друг на друга буквы, могли решить, что любимый сын или муж заработал на катере сильнейшее нервное расстройство. Шахматы тоже бесполезно покоились в шкафчике с того дня, когда на «СК 0944» произошел редчайший в истории шахматной игры случай. Прокурор базы и флагманский врач, шедшие на катере «с оказией», вздумали провести время за доской, но в середине партии обнаружили, что стараться, собственно, нечего: оба короля давно уже получили мат. Произошло это потому, что ладьи, слоны, пешки и даже солидные ферзи, дружно отплясывая на доске во время

размышлений партнеров диковинную кадриль, своевольно переменили позиции, позорно открыв противнику своих королей. Таким образом, в кают-компании «СК 0944» на походе можно было только принимать пищу, и то при условии самой скупой сервировки. Впрочем, ни командиру, ни его помощнику, ни механику на ходу было не до писем и шахмат, а случайным гостям предоставлялось коротать время по своему усмотрению.

На этот раз в кают-компании гостей было двое — командир группы разведчиков лейтенант Воронин и майор Луников, командир прославленного отряда морской пехоты, оба в ватных куртках и штанах, в грубых сапогах с низкими голенищами. Все, что было навешано на них, когда они появились на катере: сумки, гранаты, каски, фонари, вещевые мешки, фляги, бинокли, автоматы, запасные диски, котелки, теперь лежало грудой на диванчике левого борта. Казалось удивительным, что все это снято с плеч всего-навсего двоих.

Тому занятию, которое они нашли себе, «трясучка» нисколько не препятствовала: Воронин держал в руках карту крупного масштаба, а майор, подняв глаза к подволоку, неторопливо и обстоятельно описывал местность, по которой группе придется пробираться ночью. Походило, будто на подволоке была копия карты,— с такой точностью перечислял он приметные места, способные служить в темноте ориентиром: резкие повороты ущелья, по которому придется уходить от места высадки, аллею, ведущую к сгорёвшим домам совхоза, откуда лучше взять прямо на север, чтобы пересечь шоссе в наиболее пустынном месте. Он добрался уже до виноградника, означавшего место безопасного подъема в горы, когда в кают-компанию вошел лейтенант Решетников.

— Складывайте карту, товарищ Воронин, хозяин кушать пришел,— сказал майор, отодвигаясь к середине дивана.

— Мы и гостей кормим,— улыбнулся Решетников, снимая ушанку.

— Да мы, собственно, кончили,— сказал Воронин, запихивая карту в планшет.— До гор уже добрались, а там и рассвет застанет.

Майор посмотрел на него сбоку и усмехнулся, отчего сухая и как бы выветренная кожа худощавого лица собралась в уголках глаз в мелкие морщинки, что сразу изменило его выражение: напряженная сосредоточенность, с какой майор искал на подволоке детали невидимой карты, исчезла, и теперь оно было лукавым и хитровато-насмешливым.

— Кончили? — спросил он.— Это мы с вами пока без противника разгуливали, как на кроссе в Сокольниках... А если возле шоссе — помните, высотка там удобная — немцы заставу

догадались выставить? Поищите-ка, лейтенант, куда нам тогда подаваться... Нет, нет,— остановил он его движение,— вы карту не трудитесь доставать, вы на нее уже насмотрелись. Припоминайте без карты.

Лейтенант Воронин поднял глаза к подволоку, будто отыскивал там магическую карту майора, но, видимо, для него она оказалась что-то не очень разборчивой, так как он вздохнул и покрутил головой:

— Трудновато, товарищ майор...

— А если на берегу придется вспоминать? Тут-то легче: никто не стреляет и не торопит... Вспоминайте, лейтенант, пока время есть. Карта у командира должна вся в мозгу быть, мало ли что? А если вы ее потеряете?

— Я старшине Жукову вторую дал,— обиженно сказал Воронин.

— Подумаешь, сейф нашли... А если ваш Жуков на мину наступит? Нет уж, давайте-ка без карты, а я пойду погуляю, пока светло...

Воронин откинулся на диване и плотно закрыл глаза,— очевидно, так вспоминать карту ему было удобнее,— а майор надел каску и хотел встать, но, взглянув на него, передумал, достал железную коробку с табаком и деловито начал скручивать впрок папиросы, ловко приминая табак тонкими и нервными пальцами, совсем не похожими на видавшие виды пальцы окопного воина.

Решетников тоже закурил, с любопытством разглядывая Луникова. Он слышал о нем многое, но видел его лишь второй раз. Впервые он встретился с ним утром у командира дивизиона при получении задания. Тогда Луников его разочаровал. Рядом с Владыкиным, всегда подтянутым, выбритым, почти щеголеватым, всегда свежим даже после бессонной ночи похода (чему Решетников втайне завидовал), майор в своем мешковатом и сильно потертом кителе, в порядком заношенных брюках, заправленных в сапоги, казался тусклым и незапоминающимся. И его манера говорить — медленно, негромко, как бы раздумывая вслух, перебивая себя бесконечными «а если?» — тоже невыгодно отличалась от ясной, четкой речи Владыкина и была совсем невоенной. Решетников даже удивился: неужели это тот самый Луников, о мужестве и решительности которого с восторгом рассказывали матросы, вернувшиеся на крейсер из Севастополя, где они были в его отряде морской пехоты? Из этих рассказов Решетников знал, что Луников пришел на флот из запаса в начале войны, что сам он инженер, и даже не с производства: не то плановик, не то редактор какой-то технической газеты. Может быть, этим и объяснялось его невоенное

многословие и этот «глубоко штатский вид», как со всей беспощадностью молодого офицера определил Решетников свое впечатление, слушая разговор майора с Владыкиным.

Вопрос, правда, был путаный и сложный.

Потеря катером старшего лейтенанта Сомова шлюпки, происшедшая неделю тому назад, показывала, что бухточка (которую Луников предложил для удобства разговора именовать «Непонятной») перестала быть тем надежным местом связи с партизанами и подпольщиками Крыма, каким ее считали до сих пор. Здесь было сделано уже больше десятка удачных высадок разведчиков или людей, направляемых в партизанские отряды, здесь же принимали на катер тех, кто возвращался с задания, и все обходилось как нельзя лучше. Этому способствовало самое расположение бухточки: она была скрыта в высоких и обрывистых прибрежных скалах, навигационный подход к ней был очень удобен благодаря приметному мысу, расположенному возле нее; кроме того, бухточка находилась вдали от деревень и курортных местечек, и немецких гарнизонов тут не было. Все это Решетников оценил на собственном опыте, посетив бухту трижды: два раза в порядке обучения ремеслу — на катере лейтенанта Бабурчёнка, высаживавшем разведчиков и на четвертую ночь принимавшем их обратно, и один раз вполне самостоятельно, незадолго до сомовской неприятности, доставив в бухту пять человек и благополучно дождавшись шлюпки.

Что произошло в бухте во время высадки очередной группы старшим лейтенантом Сомовым — и с группой ли самой или только со шлюпкой,— могло стать известным очень не скоро: разведчики должны были возвращаться через фронт на «малую землю» у Керчи, а радиосвязь им была запрещена. Но обстоятельства особой важности (какие именно, Решетникову не сообщалось, хотя он знал, что майора вызывал к себе сам командующий флотом) вынуждали нынче же ночью не только высадить в бухте Непонятной разведчиков из отряда Луникова, но и принять их там же на катер следующей ночью.

Последнее было возможно лишь при условии, что шестерка, высадив группу, благополучно вернется к катеру. Если же она не вернется, то это будет означать, что немцы и впрямь устроили в бухте Непонятной какую-то ловушку. Тогда придется посылать с тем же заданием новую группу, но высаживать и принимать ее в другом, более отдаленном месте.

Владыкин показал его майору на карте. Тот прикинул расстояние (здесь Решетников впервые обратил внимание на его пальцы — тонкие пальцы кабинетного работника) и сказал, что тогда дело затянется на восемь-девять дней, а может быть,

и больше, так как точного срока прихода группы к месту посадки указать невозможно, и получается форменная ерунда. Так же придирчиво обсуждая каждый вариант и ставя Владыкина в тупик своими надоедливыми «а если?», Луников забраковал и другие предложенные тем места побережья, и Решетников начал терять терпение. Выходило, что майор хочет организовать путешествие своих разведчиков по тылам врага со всеми удобствами и без всякого риска, почему Решетников мысленно обозвал его перестраховщиком.

Однако майор закончил разговор неожиданно: он положил на карту циркуль и объявил, что, видимо, приходится рискнуть на высадку в бухте Непонятной сегодня же ночью и что он пойдет со своими людьми сам. Если никаких приключений не произойдет и шлюпка благополучно вернется к катеру, то для обратной посадки катер должен быть у бухты на следующую ночь и выслать шлюпку к тому же месту. Ну, а если катер сегодня шестерки не дождется,— значит, на бухту Непонятную надо окончательно плюнуть, разведчики займутся своей судьбой сами. Но в этом случае надо тотчас же доложить командующему флотом, что задание не выполнено, и немедленно высылать катер с другой группой в предложенное Владыкиным запасное место.

На этом разговор, наконец, закончился, и Решетников пошел на катер, с досадой думая о том, что и на походе и при высадке Луников порядком еще причинит хлопот своим слишком обстоятельным и дотошным отношением ко всякому делу.

Однако, к удивлению его, майор ничем никого не донимал. Появившись на «СК 0944», он деловито осмотрел шестерку, погруженную на катер, прикинул, как удобнее разместить на ней разведчиков, попросил Решетникова дать им всем возможность за время похода хорошенько выспаться, после чего спустился в кают-компанию и лег поспать сам. Сейчас он сидел спокойный, отдохнувший и даже веселый, занимаясь папиросами и насмешливо посматривая на Воронина, который мучился с незримой своей картой.

Майор выглядел теперь совсем иначе, чем утром. Ватная куртка — одеяние неказистое и неуклюжее — удивительно шла к нему, и было понятно, что в этой одежде он чувствует себя свободнее и привычнее, чем в кителе. Она плотно и удобно облегала его грудь и плечи, чем-то напоминая средневековые латы — вернее, выпуклую, в тисненом узоре кирасу. Может быть, этому впечатлению способствовало то, что майор забыл снять каску, и лицо его, обрамленное военным металлом, стало мужественнее и воинственнее. Ему было, вероятно, порядком за тридцать, может быть, под сорок, но когда быст-

рым, живым движением он поворачивал к Воронину голову и усмехался, каска скрывала его седеющие виски, складки в углах рта — беспощадный знак прожитых годов — расходились, и он казался совсем молодым. Да и сам он весь как-то подобрался, посвежел, повеселел, как человек, развязавшийся с надоедливой обязанностью и приступающий к интересной, приятной ему работе. Разговор его показался теперь лейтенанту тоже иным: хотя Луников по-прежнему злоупотреблял своими «а если?», так раздражавшими утром, теперь Решетников со стыдом подумал, что необходимую для всякого решения обстоятельность и вдумчивость он принял за перестраховку.

В том спокойствии, с каким Луников перед уходом на опасный берег занимался заготовкой папирос, в той уверенности, с какой он, не глядя на карту, видимо отпечатанную в его мозгу со всеми деталями, отыскивал ночной путь, в той настойчивости, с которой он заставлял Воронина запоминать маршрут, как и во всем его поведении с момента прихода на катер, чувствовался совсем другой человек. Было ясно, что теперь, когда все варианты высадки обсуждены, отброшены и оставлен только один, наилучший, майор будет делать именно то, что решено. Эта спокойная уверенность настолько подкупила Решетникова, что Луников внезапно ему понравился.

— Поздно собрались выйти, товарищ майор,— сказал он с сожалением.— Закат нынче выдавали — мировой!..

Луников улыбнулся.

— Да вот мы тут с картой подзадержались. Долго вы там, лейтенант? Вас давно уже немцы окружили, и разведчики с вами пропали, и я влип.

Воронин раскрыл глаза.

— Слева балочка есть удобная, а куда она выводит, хоть убей, не вспомню,— сказал он, сердясь на себя.— Придется обратно в карту лезть, товарищ майор...

— Что ж, лезьте,— вздохнул Луников.— Только в последний раз. Коли и потом не доложите, оставлю на катере.

Воронин поспешно зашуршал картой, и по тому, с какой яростью накинулся он на злополучную балку, Решетников понял, что угроза майора не была шуточной, и это тоже ему понравилось. Он с гордостью подумал, что, спроси его самого, как подходить к бухте Непонятной, никому не пришлось бы дожидаться, пока он сбегает в рубку за картой, и с насмешливым сожалением покосился на Воронина, который снова откинулся на диване, закрыл глаза и зашептал что-то про себя, будто повторяя урок.

В кают-компанию вошел главный старшина Быков, стеснительно держа за спиной трижды вымытые руки, на которых

все же остались черные и желтые пятна — неистребимые следы вечной возни с моторами.

— В цейтнот попали, лейтенант, посудой уже гремят,— сказал Луников, убирая коробку с табаком.— Вот мы с хозяевами сейчас ваши сто грамм разопьем, чтобы у вас голова свежее была!

Он снял каску и рассмеялся, и в этом смехе Решетникову снова показалось что-то необыкновенно привлекательное. Теперь майор уже окончательно его покорил.

Решетников был еще в том возрасте, когда человек бессознательно ищет среди встречающихся ему людей того, кому хочется подражать,— вернее, того, кто своим примером может показать, как обращаться с людьми, любить их или ненавидеть, командовать, драться с врагом,— словом, научить, как вести себя в той непонятной еще, сложной и полной всяких неожиданностей жизни, которая открывает перед молодым человеком свой таинственный простор. Он сменил уже несколько таких образцов, увлекаясь ими при первом знакомстве и разочаровываясь при ближайшем, но каждый из них оставил в его характере свой след — в жестах, в манере говорить, в понимании людей. И сейчас ему стало жаль, что Луников мелькнет в его жизни одной вот этой встречей; очень захотелось быть с ним в одном отряде или на одном корабле, и он всем сердцем понял, почему с таким восторгом отзывались о майоре те, кто его знал.

Решетников тоже рассмеялся:

— Не пьем, товарищ майор! Такая у нас катерная служба: бережем на случай купанья или на шторм. Но для гостей...— Он приоткрыл дверь в коридорчик, где и в самом деле кто-то гремел посудою, и крикнул:— Товарищ Жадан, гостям по сто грамм!

В дверях появился Микола Жадан — единственный на катере матрос строевой специальности, он же кок, он же вестовой кают-компании, он же установщик прицела кормового орудия: на катерах, по малости их, и люди и помещения выполняют одновременно несколько разнообразных функций. В руках у него был дымящийся бачок с супом, а на мизинце висел котелок. Как ухитрился он спуститься по отвесному трапику, было загадкой.

— Сейчас достану, товарищ командир, ужо вот накрою,— с готовностью ответил Жадан и, поставив суп на стол, начал расставлять тарелки и раскладывать вилки и ложки, которые, подвергаясь трясучему закону кают-компании, немедленно зазвенели и поползли по столу, как крупные бойкие тараканы.

— Нет, нет, не нужно,— поспешно сказал Луников.— Это я больше для красного словца. Нам с лейтенантом по возрасту

вредно: я для этого староват, а он молод. А вот почему вы, моряки, не пьете, удивительно...

— У каждого своя привычка,— объяснил Решетников серьезно, подхватывая ложку, которая вовсе уже подобралась к краю стола.— Вот наш механик, например, предпочитает накопить за неделю и уж заодно разделаться, а то, говорит, со ста грамм одно раздражение... Так, что ли, товарищ Быков?

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант,— сконфузился Быков.— Один только раз и случилось, а вы попрекаете...

— А я вот сейчас майору расскажу, как случилось,— пригрозил Решетников.— Хотите?

Быков затомился, но, на его счастье, Жадан закончил нехитрую сервировку и придвинул котелок к тарелке Решетникова. Тот нахмурился:

— В честь чего это мне особая пища? Что, я больной?

— Так, товарищ же лейтенант,— возразил Жадан, ловко разливая суп из бачка по тарелкам,— на базе нынче обратно пшено на ужин выдали, вы ж его не уважаете. А тут консервный суп с обеда, кушайте на здоровье...

Луников быстро вскинул глаза на Жадана и усмехнулся, как бы отметив что-то про себя. Решетников, увидя это, вдруг вспылил:

— Опять вы фокусы показываете! Сколько раз вам говорить: давайте мне, что всем! Безобразие... Гостям одно, хозяину другое...

— А вы о гостях не беспокойтесь, мы как раз пшенный суп больше уважаем,— успокаивающе сказал майор и протянул руку к тарелке: — Довольно, товарищ Жадан, хватит...

— Кушайте, кушайте,— гостеприимно отозвался Жадан,— можно и добавки принесть, я лишнего наварил, когда еще вам горяченького приведется...

Он постоял у двери, посматривая то на гостей, то на командира. Широкое веснушчатое его лицо выражало полнейшее удовлетворение тем, что все со вкусом принялись за еду. Потом он сообщил тем же радушным тоном:

— На второе капуста с колбаской и какава.

— Откуда какао? — удивился Быков.

— Шефская какава. Я как в госпиталь к Сизову ходил, у врачихи выпросил. Сказал, в такой поход идем, что без витамина не доберешься.

Решетников посмотрел на него, собираясь что-то сказать, потом сердито махнул рукой и уткнулся в свой «особый суп». Жадан исчез. Луников посмотрел ему вслед и перевел взгляд на Решетникова:

— Ну, чего вы на него накинулись? Жадан ваш — душа-человек, и плохо, если вы этого не видите... Да вы отлично видите, только ершитесь перед гостями...

— Конечно, вижу,— сказал Решетников, не поднимая головы,— только все-таки...

— И небось приятно, что о вас на катере так заботятся?

Решетников улыбнулся:

— Почему же обо мне? Вас он и в глаза не видел, разведчиков тоже, а лишнего наготовил. Характер у него такой, заботливый.

— Одно дело — забота, а другое... как бы сказать... ну, душевное тепло, что ли,— раздумчиво сказал Луников.—Это и в семье великая вещь, а в военной семье особенно. Командиру, которого бойцы любят, просто, по-человечески любят, воевать много легче... Это для командира счастье...

Решетников хотел было возразить, что уж кому-кому, а самому майору жаловаться не приходится, потому что те, кто был с ним в Севастополе, видимо, так его и любили, но это показалось ему неловким, и он промолчал. Майор с аппетитом доел суп, положил ложку в опустевшую тарелку и она тотчас тоненько зазвенела. Он взглянул на нее с удивлением.

— С чего это у вас такая трясучка? На всяких катерах ходил, такой не видывал...

Решетников обрадовался перемене разговора.

— Боевое ранение,— оживленно сказал он,— это еще до меня было, пусть механик расскажет, он тогда катер спас.

Но Быкова никак нельзя было раскачать. Несмотря на подсказки Решетникова, которому, видимо, очень хотелось показать майору, какое золото у него механик, он сообщил только, что правый вал был поврежден в октябре прошлого года, когда катер сидел на камнях, и что своими средствами его исправить нельзя. Наконец Решетников взялся рассказывать сам.

Оказалось, что Парамонов вместе с другим катером своего звена снимал с крымского побережья группу партизан, прижатых немцами к морю. Парамонов для скорости подвел катера прямо к берегу, партизаны, прыгая с камня на камень, добрались до катеров, и тут немцы открыли огонь. Уже выходили на чистую воду, когда катер сильно стукнулся кормой о камень, и если бы не главстаршина, так бы и остался у камней: заклинило рули, и через дейдвуд правого вала в машинное отделение стала быстро поступать вода. Быков сумел не только...

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант,— перебил Быков, с некоторой тревогой ожидавший этого места рассказа.— И воды-то было пустяки, и рули...

— А вы не перебивайте,— оборвал его Решетников.— Воды хватало, могли и остальные моторы заглохнуть... Так вот главный старшина Быков, наш механик, ухитрился...

Тут Решетников, желая во что бы то ни стало показать майору таланты Быкова, пустился в такие технические подробности, которых ни Луников, ни Воронин не поняли. Ясно было одно: что полузатопленный катер все же смог дать ход, однако рули еще не действовали. Другой катер, которым командовал лейтенант Калитин, тоже навалился на камни носом и сам сняться с них не мог. Парамонов, маневрируя без руля двумя моторами, кое-как подошел к нему и сдернул с камней. Калитин предложил повести на буксире парамоновский катер, пока на нем не ликвидируют поломку рулей. Уже начали заводить концы, когда выяснилось, что партизаны недосчитываются еще восьми человек. Тут новая ракета осветила катера, стоящие рядом, и огонь немцев усилился. Парамонов, как старший в звене, приказал Калитину отойти мористее и отвлекать на себя огонь, чтобы поврежденный катер мог спокойно исправить рули и дождаться оставшихся партизан. Уловка подействовала: едва Калитин отошел, немцы перенесли весь огонь на него, решив, что сидящий на камнях катер они прикончить успеют, а этот может уйти в море. Скоро вдалеке от камней вспыхнуло на черной воде яркое дрожащее пламя и очередная ракета осветила калитинский катер, весь окутанный белым дымом, из которого временами взвивался высокий язык пламени. Но горящий катер все еще маневрировал с отчаянным упорством, сбивая пристрелку и ухитряясь ловко уходить от залпов. Немцы, торопясь прикончить его, оставили в покое парамоновский катер, и тот, исправив рули и забрав партизан, вырвался под двумя моторами в море...

— А калитинский? — спросил Луников, живо заинтересованный рассказом.— Так и сгорел?

Решетников, видимо ожидавший этого вопроса, с удовольствием улыбнулся:

— Он, товарищ майор, гореть и не думал... Это Парамонов приказал: как поближе разрыв ляжет, зажечь на корме дымовую шашку да тряпку с бензином и охмурять немцев... Калитин на этом деле две своих простыни погубил...

— Здорово! — расхохотался Воронин.

Засмеялся и майор.

— Парамонов, Парамонов...— сказал он, вспоминая.— Постойте-ка, это не тот Парамонов, который из Севастополя чуть ли не по сто человек сразу вывозил?

— Точно, товарищ майор,— подтвердил Быков.— Сто не

сто, а одним рейсом шестьдесят семь взял, вторым семьдесят шесть, а третьим восемьдесят семь.

— Восемьдесят семь? — удивился Воронин.— Где же они тут поместились?

— По кубрикам да тут, в кают-компании... Локтем к локтю стояли, как в трамвае, до самого Новороссийска...

— Ну-ну,— покачал головой Воронин.— Этак и перекинуться недолго...

— Если на палубе держать, очень просто. Только старший лейтенант Парамонов всех вниз послал, ну и шел аккуратно — больше пяти градусов руля не клал, а погода тихая, все шло нормально...— Быков усмехнулся.— То есть нормально, пока моряков возили. А на третьем рейсе армейцев взяли, так с ними целая сцена вышла. Никак вниз не идут: натерпелись люди, нервничают, да и наслышаны о всяком. Кому охота в такую мышеловку лезть? Иван Александрович и так и сяк, а они стоят наверху, вот-вот перевернемся. Тогда он как крикнет на весь катер: «Приготовиться к погружению!» Я пошел по палубе. «Ну,— говорю,— кто собирается поплавать, оставайтесь наверху, а мы сейчас подводным рейсом пойдем, светает, самолеты налетят!..» В момент палуба чистая, мы люки задраили, и метацентр на место стал.

— Здорово! — опять восхищенно воскликнул Воронин.

Майор изумленно уставился на Быкова и вдруг расхохотался, да так, что на глазах его выступили слезы. Он взмахивал рукой, пытаясь что-то сказать, но снова принимался хохотать настолько заразительно, что даже Решетников, не раз слышавший эту историю, невольно засмеялся сам. Наконец Луникову удалось вставить слова между приступами смеха:

— Так и я... И я... Я тоже полез!..

— Куда? — изумился Решетников.

— В кубрик... Там где-то, на носу...

Быков оторопело на него посмотрел:

— И вы тогда с нами шли, товарищ майор?

— Выходит, шел,— сказал Луников, переводя дух.— Это первого июля было? В ночь на второе?

— Точно...

— Из Стрелецкой бухты?

— Точно, товарищ майор.

— Ну, значит, так и есть... Тьма была, толчея, крики... Меня мои ребята куда-то сунули с пристани — ранен я был, в плечо и в голову; очнулся — сижу у какой-то рубки, кругом чьи-то ноги да автоматы, теснота. Вдруг все ноги исчезли, я обрадовался, дышать есть чем, а сверху вдруг голос, да такой строгий: «Хочешь, чтоб смыло? Слыхал, на погружение идем?

Сыпься вниз!..» Это уже не вы ли меня шуганули, товарищ Быков?

Теперь пришла очередь расхохотаться Решетникову:

— А вы и поверили?

— Да мне тогда не до того было — опять худо стало, а вот эти слова запомнил. Потом в госпитале все спорил: мне говорят, вас парамоновский катер вывез, а я говорю, подлодка... Все в голове перепуталось, так и не знал, кому спасибо сказать... Ну ладно, хоть теперь знаю...

Майор потянулся в карман за папиросой и добавил уже серьезно:

— Смех смехом, а выходит, Парамонову я жизнью обязан. Меня ведь одним из последних на катер взяли... Помню, кто-то кричит: «Больше нельзя, ждите еще катеров!» — а кто-то говорит: «Командир еще троих разрешил, раненых!» Тут меня и перекинули на борт... А ребят своих, кто меня до бухты донес, я так потом и не сыскал... Обязательно надо мне Парамонова поблагодарить. Где он теперь? Небось дивизионом командует?

— Погиб он,— коротко сказал Быков.

— А,— так же коротко отозвался Луников, и внезапная тишина встала над столом. Лишь тоненько позвякивали в тарелках ложки да гудели за переборкой моторы низким своим и красивым трезвучием, похожим на торжественный органный аккорд.

Удивительно и непередаваемо то молчание военных людей, которое наступает после короткого слова «погиб». Те, кто знал исчезнувшего, думают о нем, вспоминая, каким он был. Те, кто не знал его, вспоминают друга, которого так же вырвала из семьи товарищей быстрая и хваткая военная смерть. И оттого, что смерть эта всегда где-то рядом, всегда вблизи, те и другие одновременно с мыслью о погибших думают и о самих себе: одни — удивляясь, как это сами до сих пор еще живы; другие — отгоняя от себя мысль о том, что, может быть, завтра кто-то так же скажет и о них это короткое, все обрывающее слово; иные — с тайной, тщательно скрываемой от других и от себя радостью, что и на этот раз военная смерть ударила не в него, а в другого. А кто-то в сотый раз испытывает при этом известии необъяснимую уверенность, что погибнуть в этой войне могут все, кроме него самого, потому что его, именно его, лейтенанта или старшину второй статьи, здорового, сильного, удачливого человека, который привязан к жизни тысячью крепких нитей, кого мать называет давним детским именем, а другая женщина, более молодая,— новым, ласковым, ею одной придуманным и только им двоим известным, и кому нужно

в жизни сделать так много еще дела, узнать так много чувств и мыслей,— именно его военная смерть не может, не должна, просто не имеет права коснуться. А кто-то, напротив, в сотый раз подумает о смерти со спокойным равнодушием человека, уставшего от давнего непосильного боевого труда и согласного на любой отдых, даже если отдых этот — последний. Но все эти люди, думающие так по-разному, одинаково замолкают и отводят друг от друга глаза, уходя в свои непохожие и различные мысли, и молчание это становится непереносимым, и хочется что-то сказать — о том, как жалко погибшего, о том, как вспыхнуло сердце холодным огнем мести, о многом, что рождает в душе это короткое слово «погиб», но все, что можно сказать, кажется невыразительным, бедным и пустым, и люди снова молчат, ожидая, кто заговорит первым.

Воронин вздохнул и, деловито зашуршав картой, пристально взглянул на нее, потом зажмурил глаза, отпечатывая в памяти тропинки и склоны. Быков прислушался к гулу моторов и, видимо, уловив какой-то не понравившийся ему новый звук, привстал и, спросив у Луникова: «Разрешите, товарищ майор?» — быстро пошел в машинный отсек. Решетников взглянул на часы и тоже привстал.

— Разрешите на мостик, товарищ майор? — сказал он, потянувшись за ушанкой.

— А капусты с колбаской и какавы? — без улыбки спросил Луников.

— Темно уже.

— Когда рассчитываете подойти?

— Часа через три, если ни на кого не напоремся.

— Я не спросил — кто с нами на шлюпке пойдет?

— Боцман наш, старшина первой статьи Хазов, и Артюшин, старшина второй статьи, рулевой. Люди верные, не раз ходили.

Луников сказал:

— Пришлите ко мне боцмана, если не спит. Потолкуем с ним, как все это получше сделать.

— Пожалуйста. Он сейчас спустится ужинать с моим помощником,— отозвался Решетников не очень приветливо.

Луников вскинул на него глаза, снова отметив что-то про себя, и сказал с той побеждающей ласковостью, с какой говорил о жадановском котелке:

— Да вы не беспокойтесь, товарищ лейтенант, я в ваши командирские дела вмешиваться не стану. Просто любопытно с ним поближе познакомиться. Как-никак, мы ему жизни доверяем, а также успех всего дела, так интересно, кому...

Он говорил это, как бы оправдываясь, хотя мог просто приказать, ничего не объясняя, и Решетников снова почувствовал расположение к этому седеющему спокойному человеку.

— Боцман у нас неразговорчивый, вроде Быкова... Ну что ж, попробуйте,— улыбнулся он, шагнув к двери, и чуть не столкнулся с Жаданом, который нес чайник и бачок.

— Куда ж вы, товарищ лейтенант? — спросил тот испуганно.— Какаву же несу!

— После какао попью, товарищ Жадан,— ответил Решетников, надевая ушанку.— Вот гостей проводим на бережишко и попьем, а вы пока их угостите как следует.

Он закрыл за собой дверь и остановился в коридорчике у трапа, выжидая, пока глаза, ослепленные яркими лампами кают-компании, привыкнут к темноте, которая ждала его за крышкой выходного люка.

Глава 6

В самом деле, наверху уже совершенно стемнело. Южная ночь быстро вытеснила за горизонт остатки света на западе, соединив небо и море в одну общую тьму, окружавшую катер. Но если сперва Решетникову казалось, что тьма эта непроглядна и что она начинается у самых ресниц, словно лицо упирается в какую-то мягкую стену и от этого хочется плотно зажмурить бесполезные глаза, то потом, когда он постоял на мостике, стена эта незаметно исчезла, будто растаяв. Море и небо разделились. Темнота получила объемность, ожила, и ночь открылась перед ним в своем спокойном, молчаливом величии.

Огромный купол неба весь шевелился в непрестанном мерцании звезд. Яркие и крупные, они вспыхивали то здесь, то там, отчего казалось, будто они меняются местами. Млечный Путь, длинным светящимся облаком пересекавший весь небосвод, тоже как бы колыхался, в нем все время происходили какие-то бесшумные изменения: голубоватый его туман непрерывно менял очертания, усиливая бледный свет в одной своей части, чтобы тотчас же мягко просиять в другой. Темноте (в собственном, прямом смысле этого слова) на небе не находилось места. Лишь кое-где глубокие беззвездные мешки зияли действительно темными провалами в бесконечность. Все же остальное небесное пространство мерцало, вспыхивало, искрилось и переливалось живыми, играющими огнями далеких бесчисленных звезд.

В этом удивительном свете темной южной ночи глазу скоро стало видно и море. На горизонте трудно было отличить его от

неба, потому что в плотных нижних слоях атмосферы звезды светились не так ярко, как в чистой высоте, и небо здесь как бы продолжало собою море. Зато вблизи катера можно было уже видеть черную маслянистую массу воды и даже угадывать на ней мерное колебание пологой зыби, покачивающей на себе отраженный свет звезд. Ветерок, слегка усилившийся к ночи, передвигал над морем невидимый воздух, и вся мерцающая и дышащая тьма, казалось, жила своей особой, таинственной жизнью, не обращая внимания на крохотный катерок, пробиравшийся в ней по каким-то своим делам.

Решетников уже долго пробыл на мостике. Холодные струйки, обдувая лицо, забирались в рукава и под воротник, но не студили тело, а вливали в него особую, энергическую свежесть, от которой он чувствовал в себе приятную живую бодрость. Некоторое время ему казалось, что все идет прекрасно и что поход не может закончиться неудачно. Так огромна и спокойна была жизнь, наполнявшая небо, воздух и море, такая величественная тишина стояла в ночи, что война, которая в любой миг могла ворваться в нее огненным столбом мины или желтой вспышкой залпа, казалась невероятной и несуществующей.

Но вскоре это полное, почти блаженное чувство покоя стало исчезать, и он заметил, что ночь не так-то уж хороша. Белая пена, неотступно сопровождавшая катер, была видна за кормой слишком отчетливо. На палубе действительно почти ничего нельзя было различить, но то, что виднелось на фоне освещенного звездным сиянием моря — оба орудия, комендоры в тулупах, шестерка на корме,— выделялось из темноты еще более плотной тенью. Значит, со стороны так же можно было заметить и силуэт самого катера.

Чем ближе подходил катер к местам, где он мог встретить противника, тем светлее казалась Решетникову ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту кромешной. Он с досадой подумал, что такой бесстыдно сияющий планетарий годится для курортной прогулки, но совершенно неуместен в войне, где надо проводить скрытные операции. Для этого много удобнее небо, сплошь затянутое облаками. Тогда и в самом деле было бы темно и, кроме того, мог лить нудный холодный дождь, который загнал бы немцев в землянки. Так же, будь на то его воля, Решетников охотно заменил бы эту пологую вздыхающую зыбь хорошей волной, чтобы береговой накат заглушал гудение моторов приближающегося катера.

Впрочем, рев катера теперь значительно уменьшился: сразу по выходе на мостик Решетников приказал перевести моторы на подводный выхлоп. Отработанные газы прекратили свою оглушительную пальбу, пробираясь теперь через воду с недо-

вольным урчанием, и по темному морю разносился только ровный низкий гул моторов. Однако сквозь него нельзя было расслышать такой же гул моторов противника. Поэтому Решетников вызвал на мостик старшину сигнальщика Птахова (того самого, у которого было «снайперское зрение»), предупредил людей, стоящих у орудий и пулеметов, чтобы и они наблюдали по бортам и по корме, потом еще раз обошел палубу, осматривая затемнение. Ни одного лучика света не вырывалось из плотно закрытых люков, из двери рубки, и только на мостике смутным и бледным кружком чуть теплилась слабо освещенная изнутри картушка компаса.

Резкая свежесть ночи охватывала лейтенанта, но он так и не накинул на себя тулупа: каждый момент могла произойти встреча с катерами или сторожевиком противника, и тулуп мог помешать нужным движениям. Мысль о возможной встрече порождала в Решетникове все нарастающую тревожность, и он пристально вглядывался в темноту. Уже не раз дрогнуло у него сердце, когда на черной воде ему мерещился еще более черный силуэт, и не раз готов он был скомандовать руля и открыть огонь, предупреждая первый залп врага. Но каждый раз силуэт расплывался и исчезал, и становилось понятно, что он был лишь игрой утомившегося зрения и натянутых нервов. Наконец Решетников поймал себя на том, что снова окликает комендоров у орудий: «Внимательнее за горизонтом смотреть!» — и со стыдом понял, что начинает нервничать и суетиться. Надо было взять себя в руки, довериться Птахову и думать о другом, постороннем, чтобы сохранить глаза и нервы для настоящей, не кажущейся встречи. Он нагнулся к компасу, проверяя, как держит рулевой, и картушка изменила ход его мыслей.

Еще недавно Решетников, убежденный артиллерист, относился к компасам равнодушно. Он даже слегка презирал этот слабенький прибор, нервы которого не могут выносить обыкновенной артиллерийской стрельбы. Изволите видеть, стрельба «изменяла магнитное состояние катера», и после нее компас начинал показывать черт знает что — количество осадков в Арктике или цену на мандарины в Батуми, и приходилось просить дивизионного штурмана снова поколдовать с магнитами и уничтожить девиацию, им же недавно уничтоженную. Но, став командиром катера и проведя наедине с компасом долгие часы походов в огромном пустынном море, в тумане и в ночи, Решетников подружился с ним и научился его уважать. Компас стал для него частью его командирского «я», органом нового для него чувства ориентировки в море, необходимым и неотъемлемым, как рука, глаз или ухо. Поэтому, выходя в море, Решетников всякий раз поточнее определял его поправ-

ку и, освежив в памяти забытую еще в училище науку о компасах — теорию девиации, однажды удивил штурмана дивизиона просьбой посмотреть, как он попробует сам наладить компас на вверенном ему катере. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: ощутив компас как часть своего командирского организма, Решетников хотел владеть им с той же свободой и легкостью, с какой владел своими жестами или мыслью. С этого дня компас стал для него еще ближе, понятнее и роднее, как живое существо, которое он сам выходил в серьезной болезни.

И сейчас, глядя на голубоватый круг картушки, который, казалось, перенял на себя сияние ночного неба, Решетников так и думал о компасе, как о живом существе — слабеньком, маленьком, но обладающем поразительной настойчивостью и силой характера.

В самом деле, шесть крохотных, со спичку величиной, магнитиков, везущих на себе бумажный кружок с напечатанными на нем градусами (картушку), окружены массами металла, огромными по сравнению с ними самими. Рубка, орудия, пулеметы, моторы — всяк по-своему тянут эти магнитики к себе, а равные, но обратно направленные силы магнитов-уничтожителей, хитро размещенные в нактоузе под картушкой так, чтобы противодействовать вредному влиянию судового железа,— к себе. Этот невидимый двойной вихрь силовых линий плотным слоем заслоняет от картушки магнитный полюс земли, расположенный у черта на куличках, где-то в Арктике, у берегов Северной Америки, в пятнадцати тысячах километров отсюда. И было поразительно, как магнитики картушки могут различать его далекий, едва слышный призыв: куда бы ни поворачивались катер и связанные с ним массы металла, картушка неизменно и упорно смотрит концом магнитиков на этот далекий полюс — на север.

Именно эта настойчивость и поражала Решетникова всякий раз, когда он начинал думать о компасе. Хорошо было бы иметь и в себе такую же стойкую и ясно направленную «лямбду-аш» (как называлась в теории девиации направляющая сила земного магнетизма на корабле).

Решетникову все время казалось, что в нем самом такой «направляющей силы» — ясной целеустремленности, уменья без колебания идти к тому, чего хочешь достигнуть,— нет. Поэтому всякому человеку, в котором подозревал наличие этой самой «лямбды-аш», он завидовал со всею страстностью молодости, жадно отыскивающей в жизни образцы для себя, и пытался сблизиться с ним, чтобы тот научил его, как пробудить в себе эту великую направляющую силу. Нынче его особенно

поразил майор Луников: судя по всему, этот человек должен был иметь в себе такую «лямбду-аш». И если бы Решетников мог, он сейчас пошел бы в кают-компанию, чтобы попытаться заговорить с ним на волнующую его тему.

Море, корабли, походы, бои и штормы, дружный мужественный коллектив флотских людей, даже самый его китель и нашивки — все это было ему очень близко и дорого. Он отчетливо знал, что, если почему-нибудь ему придется этого лишиться, он станет самым несчастным человеком. Но в то же время он подозревал, что, случись с ним такая беда, жизнь его не опустеет. А вот для других, кого он наблюдал рядом с собой — для того же Владыкина или старшего лейтенанта Калитина, командира его звена, или, скажем, для боцмана Хазова,— это означало бы потерю смысла жизни: они были настоящими военными людьми, а он, наверное, только притворялся таким перед другими, да и перед самим собой.

Это ощущение и беспокоило его, особенно в первые недели командования, когда он остро переживал свою неспособность быть командиром катера. Его начала преследовать горькая догадка, что он действительно не был настоящим военным человеком, а то, что померещилось ему шесть лет назад у зеленых склонов Алтая, было только мечтой, ошибочной и неверной.

К догадке этой он приходил всякий раз, когда начинал думать о будущем и примериваться, что же станет он в нем делать. Для многих, кого он видел вокруг себя, это будущее было заслонено кровавым и дымным туманом войны — для них оно заключалось в одном страстно желанном понятии: победа. Для него же война полыхающим светом своих пожаров и взрывов ярко освещала будущее, стоящее за победой. Представить его себе сейчас было невозможно, он мог лишь угадывать впереди нечто огромное, счастливое, ликующее: жизнь. И вопрос состоял в том, что же станет он делать в новой мирной жизни, где города будут строиться, а не разрушаться, где металл будет пахать землю, а не уродовать ее ворохами, где пламя будет согревать, а не сжигать и где человеческая мысль обратится к созиданию, а не к разрушению.

Если, как он подозревал, качеств военного человека в нем не нашлось, его настоящее место, может быть, и окажется там, в этой гигантской и радостной созидательной работе. А возможно, он все-таки из тех, кто, умея хорошо владеть оружием, должен будет защищать труд многих людей, которые станут строить эту новую, необыкновенную послевоенную жизнь? Вряд ли после победы настанет вечный мир, и кому-то все равно придется оставаться у пушек в готовности снова вести

бои за счастье огромного количества людей. Но тогда сможет ли он сказать, не обманывая ни себя, ни других: «Да, я тот, кто до конца своих дней будет убежденно делать именно это — защищать свою страну и ее труд, в этом и мое призвание, и моя гордость, и мое счастье»?..

Короче говоря, Решетникова мучила та самая болезнь, которой, как корью, неизбежно заболевает всякий способный к размышлению молодой человек, вступающий в жизнь: сомнение в том, правильно ли он угадал свой собственный путь.

Обо всех этих смутных, но сложных и важных вопросах говорить можно было только с другом, то есть с тем, кому доверяешь свое самое тайное и дорогое, не боясь показаться ни смешным, ни глупым, и с кем говоришь не словами, а мыслями — порой недодуманными, неоконченными, но все же понятными ему. Такого друга у него в жизни пока что не было, и к каждому, кто ему встречался, Решетников присматривался именно с этой точки зрения: выйдет или не выйдет?

При встрече с Владыкиным ему показалось, что «выйдет», и поэтому он в первом же разговоре так быстро и охотно раскрыл перед ним свою мечту о катерах. Но, попав к нему на дивизион, Решетников увидел, что «выходит» с Владыкиным многое, но не главное. Обо всем, что касалось катера, флота, боя, тактики, с ним говорилось просто и душевно, как будто Владыкин был не капитаном третьего ранга и не начальником, а именно другом, понимающим и отзывчивым, более взрослым и потому более разбирающимся в жизни. Но когда, засидевшись как-то в уютной его комнатке, которая, как и все, что окружало Владыкина, была необыкновенно чиста, аккуратна и празднична (что особенно поражало взгляд в том полуразрушенном санатории, где размещался штаб дивизиона), Решетников вздумал затронуть эти свои вопросы и путано заговорил о далекой цели, которую ему хочется поскорее увидеть в жизни, Владыкин поднял брови:

— А чего ж тут видеть? Победа — вот цель.

— Так это-то я как раз и вижу,— сказал Решетников, мучаясь, что не так выражает важную для него мысль.— Победы мы добьемся, это факт, а вот что за ней? Потом-то тоже придется жить... Так — куда жить?

Он повторил это свое любимое выражение, потому что именно оно несло в себе понятие курса и направленности, и надеялся, что Владыкин сразу его поймет и тогда можно будет говорить с ним обо всем.

Но Владыкин рассмеялся:

— То есть как это *куда* жить? Это вы о смысле человеческой жизни, что ли?.. Давайте-ка, Решетников, воевать,

а философию пока отложим. Сейчас об одном думать надо — о победе. Понятно?

Решетников, вздохнув, ответил для простоты, что понятно, и опять остался один на один со своими вопросами, странными и смешными для других. И случилось так, что именно на том катере, где он учился быть дельным офицером и хорошо воевать, ему довелось найти человека, которого он смог назвать в душе другом: боцмана Никиту Петровича Хазова.

Это пришло не сразу. Наоборот, вначале отношения Решетникова и Хазова никак не походили на дружеские.

Как-то так получалось, что впечатление первой встречи, когда во взгляде боцмана Решетников прочел убийственный для себя приговор, никак не исчезало. Первую неделю командования катером лейтенант видел в неразговорчивости боцмана и в постоянной его сумрачности молчаливый укор своим действиям, нежелание сближаться и терпеливое ожидание того счастливого для катера дня, когда на него придет, наконец, настоящий командир. Потом, когда из своей каюты он случайно услышал разговор Хазова с механиком Быковым и уловил неохотную, как всегда, фразу боцмана: «Ну и что ж, что суетится, дай ты человеку привыкнуть...» — это ощущение сгладилось.

Но самолюбие вскоре подсказало другую обидную мысль: выходило так, что катером командует не он, лейтенант Решетников, а боцман Хазов. Катер стоял еще в ремонте после боя, в котором погиб Парамонов, и нужно было думать о сотне мелочей: как раздобыть необходимый компрессор? воспользоваться ремонтом для смены правого вала или решиться ходить и дальше с «трясучкой»? как вовремя кормить людей (катер стоял в углу бухты, вдали от общего камбуза)? что делать с покраской? ждать из госпиталя радиста Сизова или просить о его замене? И все, что он как командир катера должен был сам предусмотреть или приказать, все было подсказано или уже сделано боцманом. Правда, вел себя Хазов очень тактично и, щадя самолюбие командира, советы и предложения свои облекал в форму вопросов, которые незаметно наталкивали того на верное решение, но легче от этого не было: Решетников чувствовал себя на катере явно лишним.

Чувство это скоро стало унизительным и дополнительно повлияло на безнадежные ночные мысли Решетникова о том, что из него никогда не получится настоящего командира. Оно преследовало его все настойчивее и, наконец, воплотилось во сне кошмаром.

Лейтенанту приснился его первый поход на «СК 0944» и первый бой. Боцман стоял рядом с ним на мостике и удивитель-

ным шепотом, который перекрывал и гул моторов и трескотню стрельбы, подсказывал ему: «Право на борт... все три мотора стоп... теперь одним левым, круче выворачивайтесь...» И катер, вертясь, действительно избегал бомб, которые, пронзительно свистя, шлепались поодаль. И не успевал он подумать, что пора скомандовать перенести огонь по второму самолету, как Хазов уже стоял у пулемета и сам, без приказания, строчил по нему и тем же шепотом (которого, видимо, никто из матросов не слышал) снова подсказывал: «Все три мотора полный вперед... Руля право скомандуйте...» — и он, командир, чувствовал, что иначе сделать ничего нельзя. Но ему страшно хотелось сделать что-то по-своему. Он собрал в себе всю силу воли и рванул рукоятки телеграфа на «полный назад», но тут же с ужасом увидел, что Быков высунулся из машинного люка и грозит ему пальцем, как мальчишке, а боцман улыбается, качая головой, и показывает на бомбу. Та не падала, а медленно опускалась с неба, как бы плыла, и ему стало ясно, что она неотвратимо коснется кормы. Он понимал, что надо дать ход вперед, но стоял, как зачарованный, не в силах пошевелить рукой. Тогда Хазов внимательно посмотрел на бомбу, сделал пальцами какой-то неторопливый таинственный знак (который был понятен всем, кроме него, потому что все они облегченно улыбнулись), и хотя винты работали на задний ход, катер вдруг сделал огромный прыжок вперед, и бомба разорвалась за кормой... От грохота ее он проснулся с заколотившимся сердцем и решил, что дошел до ручки. Однако, услышав отдаленный лай зениток, понял, что наверху в самом деле что-то происходит.

Полуодетый, Решетников выскочил на палубу, и ему показалось, что идет крупный налет, когда катерам по инструкции полагалось отходить от пирсов, чтобы не попасть всем под одну бомбу. По темному небу перекидывались прожекторы, с берега били зенитки, и на мысу, метрах в пятистах от катера, разрастался высокий столб огня,— видимо, там горел один из деревянных домиков, лепившихся по склону горы вокруг бухты. У машинного люка он заметил темную фигуру, которую принял за механика, и тотчас крикнул:

— Товарищ Быков, какой мотор сможете завести? Давайте хоть один, скорее!..

— Это я, товарищ лейтенант,— ответил голос, и Решетников узнал боцмана Хазова.

Подойдя, он увидел, что тот стоит у своего пулемета, подняв к небу лицо.

— Еще мину спустил,— сказал боцман неторопливо и описательно, как бы не замечая взволнованности Решетникова.— Глядите, товарищ лейтенант, ее тоже к берегу тянет... Дурак

какой-то нынче прилетел — вторую мину уже губит. Ветра не рассчитал.

В самом деле, белый парашют, яркой точкой сиявший в луче прожектора, медленно опускался за мыс к горе. Решетников со стыдом сообразил, что это не бомбежка, а обычный визит одного-двух самолетов, пытавшихся, как всегда, заградить минами выход из бухты. Он догадывался также, что необычная общительность боцмана объясняется только одним: тот косвенным образом хотел показать командиру совершенную ненужность заводить моторы, когда все вообще в порядке.

Мина ударилась где-то на склоне горы, грохот разрыва потряс катер, и Решетников искусственно зевнул.

— Ну, чего тут смотреть, холодно... мины как мины,— сказал он и повернулся, чтобы уйти, но боцман с той же подозрительной словоохотливостью и прежним тоном стороннего наблюдателя сообщил:

— Второй гудит. Наверное, тоже мины спускает... А глядите, товарищ лейтенант, как от нас хорошо фарватер видно...

И опять Решетников понял, что уходить ему никак нельзя: отсюда действительно фарватер был виден лучше, чем с базы, и можно было проследить, на каком его участке опустятся парашюты, а утром доложить об этом Владыкину, чтобы облегчить траление после ночного визита...

Стиснув зубы, он встал рядом с Хазовым, ища в небе отблеск парашюта, попавшегося в луч прожектора, но все в нем восставало и кипело при мысли, что новый урок, как всегда, правилен. Единственное, что он мог сделать сам,— это крикнуть на мостик Артюшину, чтобы тот снял с компаса колпак и пеленговал опускающиеся в воду парашюты. Боцман, продолжая не замечать его состояния, молча стоял возле. Потом повернулся к акустику, скучавшему у пулемета, и негромко сказал ему:

— Реглан командиру принеси.

— Отставить, мне тепло! — резко перебил Решетников, и ему показалось, что боцман в темноте улыбнулся и покачал головой совсем так, как делал только что в приснившемся кошмаре. Кошмар будто продолжался наяву. Решетников вдруг поймал себя на том, что он готов скомандовать огонь, совершенно бесполезный для гудящего высоко во тьме самолета,— скомандовать только для того, чтобы показать, что командир здесь он, а не боцман. Ночь была очень холодная, и его здорово прохватывало в кителе, но он упрямо оставался на палубе, пока самолеты не ушли.

Сообщив в штаб замеченные пеленга и вернувшись в каюту, он лег в койку, натянул на себя реглан и, согревшись, попытался спокойно обдумать, что же, собственно говоря, получается

у него с Хазовым и как выйти из этого положения, становящегося невыносимым.

А получалось черт знает что.

Просить о переводе Хазова на другой катер было бы несправедливо по отношению к нему и, кроме того, просто вредно для катера и его экипажа: другого такого знающего и опытного боцмана не найти. Говорить о своем переводе на другой катер — значило углубиться в психологические дебри ночных кошмаров и, вероятно, вызвать во Владыкине недоумение и насмешку. Сказать же ему честно и откровенно, что с командованием катером что-то не получается и что поэтому он просит вернуть его на большие корабли, означало прямую капитуляцию. Кроме того, такая просьба перед самым окончанием ремонта (а стало быть, перед началом походов и боевых действий) могла вызвать подозрение, при одной мысли о котором Решетников вспыхнул.

Оставался один выход — необычайный, но совершенно справедливый: надо было просить Владыкина присвоить Хазову лейтенантское звание и назначить его командиром «СК 0944», который он знает вдоль и поперек и где каждого человека экипажа изучил, как самого себя. Ведь бывали же на флоте случаи, когда младшие командиры без всякой волокиты и даже без экзамена получали лейтенантское звание прямо в бою или сразу после боя?..

Мысль эта понравилась, и он долго обдумывал, как убедить Владыкина передать «СК 0944» человеку, который действительно сможет заменить на нем старшего лейтенанта Парамонова, а его, Решетникова, перевести на другой катер. Это показалось ему настолько логичным и убедительным, что, повеселев, он заснул, решив сегодня же поговорить об этом с Владыкиным, когда пойдет к нему докладывать о ночных наблюдениях за парашютами.

Он так и сделал и, покончив с докладом, объяснил, что наблюдать за минами догадался, собственно, не он, а боцман Хазов и что Хазов — совершенно готовый офицер и поэтому с ним очень трудно, так как ему уже тесно в боцманском деле и его вполне можно продвигать выше. Так он подошел к теме своих взаимоотношений с Хазовым, и тогда полились уже откровенные жалобы.

Владыкин слушал его сочувственно, даже понимающе улыбался, когда Решетников для убедительности привел два-три случая, особо задевавших его самолюбие.

— Мне в свое время такой дядька тоже жизнь отравлял,— сказал он, протягивая Решетникову портсигар, что на условном коде дивизиона означало переход с официального разговора

на дружеский.— Только не боцман, а главный старшина рулевой Родин. Я думал, что я уже штурман и пуп земли, а он меня учил... Боже мой, как учил! И теперь вспомнишь, краснеешь... И тоже, старый черт, все обиняком, вежливенько, ни к чему не придерешься... А этот ваш — как на людях себя держит? — перебил он себя.— Тоже учит?

— Нет,— признался Решетников и вдруг неожиданно для себя чихнул. Справившись с платком, он гордо добавил: — Ну, тогда я бы сразу его оборвал...

— Вот и молодец,— похвалил Владыкин, и Решетников скромно опустил глаза.

— Так я же понимаю, товарищ капитан третьего ранга...

— Да не вы молодец,— сердито усмехнулся Владыкин.— Вы, извините, просто мальчишка, и притом бестолковый и неблагодарный. Вам на такого боцмана молиться надо, а вы... Подумаешь, самолюбие заело!.. Самолюбие, по-моему, не в том, чтоб обижаться, когда тебя учат, как что сделать, а в том, чтоб поскорее научиться так самому все это делать, чтобы тебя никто не смел носом ткнуть... И чем это, позвольте вас спросить, вам в себе любоваться? Самомнением своим, что ли? Или самонадеянностью?.. Флот, милый мой, на том и стоит, что офицер у всех учится — и у начальников и у подчиненных. К старым морякам и адмиралы прислушиваются. Самонадеянности море ох как не любит!

— Да я учиться и не отказываюсь, товарищ капитан третьего ранга,— сказал Решетников, удивленный резкостью, с которой Владыкин его отчитал.— И самонадеянности во мне никакой нет, наоборот...

Но тут он снова чихнул, что на этот раз оказалось вполне кстати: по крайней мере, он имел время сообразить, что говорить сейчас о потере им всякой надежды стать когда-либо настоящим командиром, пожалуй, не очень-то выгодно,— и повернул фразу на ходу:

— Наоборот, я очень ему благодарен за поддержку... Только боюсь, он так меня к помочам приучит, что я потом и шагу без него не сделаю.

— Ну, и грош вам цена,— спокойно сказал Владыкин.— По-моему, если у человека есть характер, он в лепешку расшибется, чтобы такую опеку поскорее с себя скинуть.

Решетников обрадовался, что разговор подходит именно к тому, что ему нужно, но Владыкин продолжал:

— Я, например, своего Родина чем с себя скинул? Как бы это сказать... стрельбой по площадям... Вот увижу, он стоит и, скажем, на механический лот смотрит, а у меня внутри уже все томится. Понимаю, что он старый черт, у него в самых

кишках что-то приметил и сейчас меня носом ткнет. Ну, с отчаяния возьмешь и прикажешь: «Товарищ главный старшина, надо лот разобрать, тросик смазать и барабан покрасить. Смотрите, в каком он виде!..» Так сказать, вроде стрельбы по площади: куда-нибудь да попадешь... И точно, он, оказывается, и собирался предложить именно тросик промазать, да уж поздно: инициатива-то за мной осталась, за штурманом!.. Вот так и привык к решительности. И подмечать все научился. Ходишь и думаешь: неужто он раньше меня что-нибудь заметит?.. Да чего вы все время чихаете? — вдруг посмотрел он на лейтенанта.— Ночью, что ли, простыли, небось голым выскочили?

— Да нет,— сказал Решетников, закрыв лицо платком: признаваться в своем упрямстве с регланом, пожалуй, не стоило.

— Хватите на ночь сто грамм, да побольше, и горчицы в носки насыпьте, пройдет,— посоветовал Владыкин, на все имевший ответ.— Так вот... Будьте вы смелее, инициативнее. Над пустяками не раздумывайте, быстрее решайте. В мелочах ошибаться не бойтесь, убыток небольшой, а мелочи вас приучат и в крупных делах смелее решать... Да он вас и поправит, Хазов-то, поправит тактично, осторожно, в этом я вам ручаюсь. Оно и лучше, чтоб он вас поправлял, а не подсказывал. Понятно? А обижаться на него нечего: он для вас все то делает, что хороший коммунист должен делать для комсомольца и опытный моряк для такого... ну, скажем, молодого моряка, как вы. Чего ж вам еще надо?

Решетников собрался сказать, что надо-то еще очень многое: самому почувствовать в себе ту смелость, решительность и самостоятельность, которые он в нем предполагает. Но это опять упиралось в ночные мысли, говорить о которых было нельзя, чтобы не погибнуть в его глазах окончательно. Однако, представив себе, что разговор сейчас кончится ничем и ему придется вернуться на катер, где ждет его Хазов и все связанные с ним неприятности, он поднял глаза.

— У меня есть предложение, товарищ капитан третьего ранга... Может быть, вы и согласитесь...

— Самостоятельное или тоже боцман подсказал? — весело улыбнулся Владыкин.

— Да нет... Самостоятельное...— не в тон ему серьезно ответил Решетников и начал излагать свой план. Но по мере того как он говорил, вся убедительность и логичность ночного проекта исчезали вместе со сползающей с лица Владыкина улыбкой.

— Так,— сказал Владыкин, когда он закончил, и стал долго закуривать папиросу. Потом защелкнул зажигалку и внимательно посмотрел на Решетникова.— Значит, в кусты?

— Почему же в кусты? На любом другом катере...

— На другом катере вам механик будет жизнь заедать, на третьем — помощник. Так и будете катера менять, словно сапоги,— искать, который не жмет?.. М-да... Решение, и, видно, самостоятельное...

Лейтенант почувствовал, что краснеет, и с отчаянием подумал, что остается одно: признаться и просить вернуть его на крейсер.

— Ну ладно,— сказал вдруг Владыкин жестко.— Я вам карты открою, чтоб понятнее было.

Он посмотрел в сторону, как бы обдумывая, с чего начать, и Решетников насторожился.

— Меня что в вас заинтересовало: то, что я в вас любовь к катерам почувствовал. Помните, как вы мне о пятьсот девятнадцатом рассказывали? Я вам тогда сказал: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. А сейчас я этой твердости в вас не вижу. И, пожалуй, скоро так обернется, что мне будет все равно, есть на свете лейтенант Решетников или нет... Ну, это пока мимо... Так вот. Вы о катере мечтали и думали, что вам катер на блюде поднесут. Так, понятно, не бывает. Я о вас с контр-адмиралом поговорил — бой ваш на пятьсот девятнадцатом в вас кое-что показал... Дали вам время с катерами ознакомиться. Все-таки месяца четыре вы артиллеристом там были — значит, вопросы техники да и тактики катерной освоили, и, знаю, освоили неплохо... К тому времени этот случай у нас вышел... с Парамоновым...

Он замолчал, и Решетников почувствовал, какой потерей была для командира дивизиона гибель Парамонова. Потом Владыкин поднял голову и посмотрел лейтенанту прямо в глаза:

— Так вот. Я все это время о вас соображал и выбирал, какой катер вам дать. Ну, и дал парамоновский катер. Поняли вы, что это за катер?

— Понял,— тихо ответил Решетников.

— Знаю, что поняли. И за портрет вам спасибо...— Он невесело усмехнулся.— Вот вы говорите: учиться... Этим портретом вы меня многому научили. Я приказал ввести на дивизионе в традицию: чтобы на каждом катере портреты погибших героев были. Память о них боевая...

Он опять помолчал.

— Так вот... А почему именно этот катер? Не только потому, что на нем вам легче в первый бой пойти — не гастролером, а настоящим командиром. А потому еще, что на нем такой боцман, как Никита Петрович Хазов. Я вас в верные руки отдал, и в какие руки!.. А вы...

Он не договорил, заметив, что Решетников помрачнел и, видимо, принял упрек всем сердцем. Потом открыл ящик стола и вынул папку, на которой была наклейка «На доклад контр-адмиралу», сделанная как и все владыкинское, с аккуратным и скромным щегольством.

— А Хазова из-за вас я в продвижении задержал. Это вам тоже нужно знать, коли разговор всерьез пошел. Читайте.

Решетников взял листок. Это был заготовленный приказ по базе о том, что за отличные боевые заслуги и проявленные знания старшина первой статьи Хазов Н. П. назначается помощником командира «СК 0944» с присвоением не в очередь звания мичмана. В заголовке приказа стоял прошлый месяц, но числа и подписи не было.

— Если бы Парамонов из боя вернулся, это было бы подписано, понятно? — сказал Владыкин, взяв обратно приказ.— Но когда он... когда с ним э т о случилось, речь зашла о вас и я контр-адмиралу доложил, что приказ придется пока задержать. Одно дело — быть Хазову помощником у Парамонова, а совсем другое — у вас. Вы его ничему не на́учите и ничем на первых порах не поможете. Да и для вас лучше: боцманом он вам больше даст, чем помощником. Боцманом — он король, а помощником — сам еще цыпленок. И для катера лучше, а то и помощник учиться будет, и командир, и новому боцману к команде привыкать. Этак у нас не боевой корабль получится, а неполная средняя школа... Ну, а дать ему только офицерское звание и оставить при вас боцманом — обратно не выходит. Не тот эффект получается: этот приказ должен был всем катерным боцманам перцу подбавить, ну и гордости: вот, мол, как наши на мостик прыгают! И боцмана веселей бы служили. Понятно?

— Понятно,— взволнованно сказал Решетников.

То, что Владыкин на миг приоткрыл для него завесу, скрывающую неведомый ему еще мир, где решаются судьбы флотских людей, и он краем глаза увидел, что́ таится за маленьким листком приказа, сильно его поразило. Как-то по-новому увидел он и Владыкина, и контр-адмирала, и Хазова, и всю катерную дружную семью, и весь тот умный, рассчитанный ход флотской службы, где взвешивается все, и где каждому человеку есть своя особая цена и где каждый человек судьбой своей неразрывно связан с судьбами других во имя боеспособности одного только катера.

Владыкин заметил, очевидно, его взволнованность и дал ему время подумать над тем, что пришлось узнать. Он, не торопясь, уложил приказ обратно в папку и только потом продолжал:

— Хорошо, если понятно. Я вам всю эту механику для того

рассказал, чтобы вы одну важную вещь поняли. Вот уперлись вы в свои отношения с боцманом и делаете две ошибки, непростительные для командира. Из-за этого вашего самолюбия вы в боцмане живого человека не видите. А боцман для командира катера первейшим другом быть должен. Иначе катеру — ни плавать, ни воевать. А что вы о Никите Хазове знаете, кроме того, что он вам на нервы действует? Ничего вам в нем неинтересно, вы собой заняты. А что у него на душе, почему он такой хмурый да необщительный, на это вам наплевать. Не хотите вы к нему путь искать. Первая ваша ошибка.

Он сунул папку в стол и щелкнул замком.

— Вторая. Боцман вам все на катере заслонил, всех людей. А как, спрашивается, вы будете командовать катером в бою, если не знаете кто у вас — кто? Кто чем дышит, чем живет, как фашиста ненавидит? Кого вы можете на смерть послать, чтобы он жизнью своей катер спас, а за кем в бою присматривать надо? Кому надо душевным разговором помочь, а на кого рявкнуть? Да, наконец, просто: кому водку можно перед походом дать, а кому после?.. Знаете вы все это? Ничего вы не знаете, а на катере уже две недели. Если бы контр-адмирал и командир дивизиона так же, как вы, людьми интересовались, торчал бы Хазов безвылазно в боцманах, а вы на крейсере так и мечтали бы о катере. Вторая ваша ошибка.

Он встал и тотчас привычно одернул китель, который и так сидел на нем без складочки. Решетников тоже встал: этот жест Владыкина означал возвращение к официальному разговору.

— Так вот, товарищ лейтенант,— сказал Владыкин сухо.— Вы остаетесь командиром «СК 0944», и старшина первой статьи Хазов остается боцманом там же. От вас зависит срок, когда он получит звание мичмана и станет помощником командира. На сорок четвертом или на другом катере — это тоже зависит от вас. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга,— ответил Решетников.— Разрешите идти?

— Если действительно понятно, идите,— сказал Владыкин.

Не видя в глазах его ни улыбки, ни тепла, Решетников понял, что нынче с ним говорилось без всяких скидок на молодость и неопытность. Все в нем было растревожено и болело. Впервые в жизни он почувствовал, что с его поведением и поступками тесно связана чужая судьба, и непривычное это чувство никак не могло в нем уложиться и давило на сердце тяжелым грузом. Он как будто повзрослел за этот разговор.

— Разрешите вопрос, товарищ капитан третьего ранга?— сказал он, подняв опять глаза на Владыкина, и взволнованно спросил: — А Хазов... он об этом приказе знает?

— Знает — вряд ли,— по-прежнему холодно ответил Владыкин.— А догадывается — несомненно. Все к тому шло, он не маленький.

— Так как же мне с ним теперь, ведь это...— начал Решетников и вдруг опять глупо и смешно чихнул.

Владыкин не улыбнулся, но в глазах его проскочила искорка откровенного смеха, и Решетников понял, что не все еще потеряно.

— Вы в водку обязательно перцу подсыпьте, это лучше помогает,— сказал Владыкин.— Болеть вам теперь некогда. Понятно?

Но Решетников, не ответив на этот раз, что понятно, пошел к двери, понимая одно: что Хазов стал для него совсем другим человеком.

Глава 7

Разговор этот как бы встряхнул Решетникова. Вся его «ночная психология», как не без некоторого презрения расценивал он сейчас свои недавние переживания, казалась ему теперь мальчишеской и вздорной. На что потратил он драгоценное время? Целых две недели глубокомысленно решал вопрос, командир он или не командир, когда надо было просто становиться им. Он внутренне поклялся себе немедленно, сегодня же, начать вести себя как взрослый человек и прежде всего изменить свое подозрительное отношение к боцману, которое, вероятно, для того просто обидно.

Резкий ветер дул с моря холодно и ровно, и солнце светило не грея, но так сильно и ярко, что в воздухе стояла отчетливая прозрачность. Дорожка, ведущая в глубину бухты, где стоял «СК 0944», петляла среди низкорослых деревьев, еще лишенных зелени. Сквозь черное кружево сухих, голых ветвей странно белели гипсовые девушки с мячами и веслами — напоминание о том, что здесь когда-то был парк санатория. Домики его зияли теперь провалами вырванных рам или просто лежали на земле невысокими печальными грудами камней и досок. Но за черными ветками и разваленными стенами неотступно — то слева, то справа, то впереди, в зависимости от того, как поворачивала дорожка,— виднелось море. Море, от которого не уйти и к которому все равно придешь, как бы ни крутило тебя по жизни и как бы ни заслоняла его от тебя путаная сеть мыслей и сомнений...

Но хотя в воздухе была свежая, отрезвляющая прозрачность, мысли оттого не становились яснее. Наоборот, полная

неизвестность, как же быть теперь с Хазовым, с катером и вообще с морем и флотом, беспокоила Решетникова.

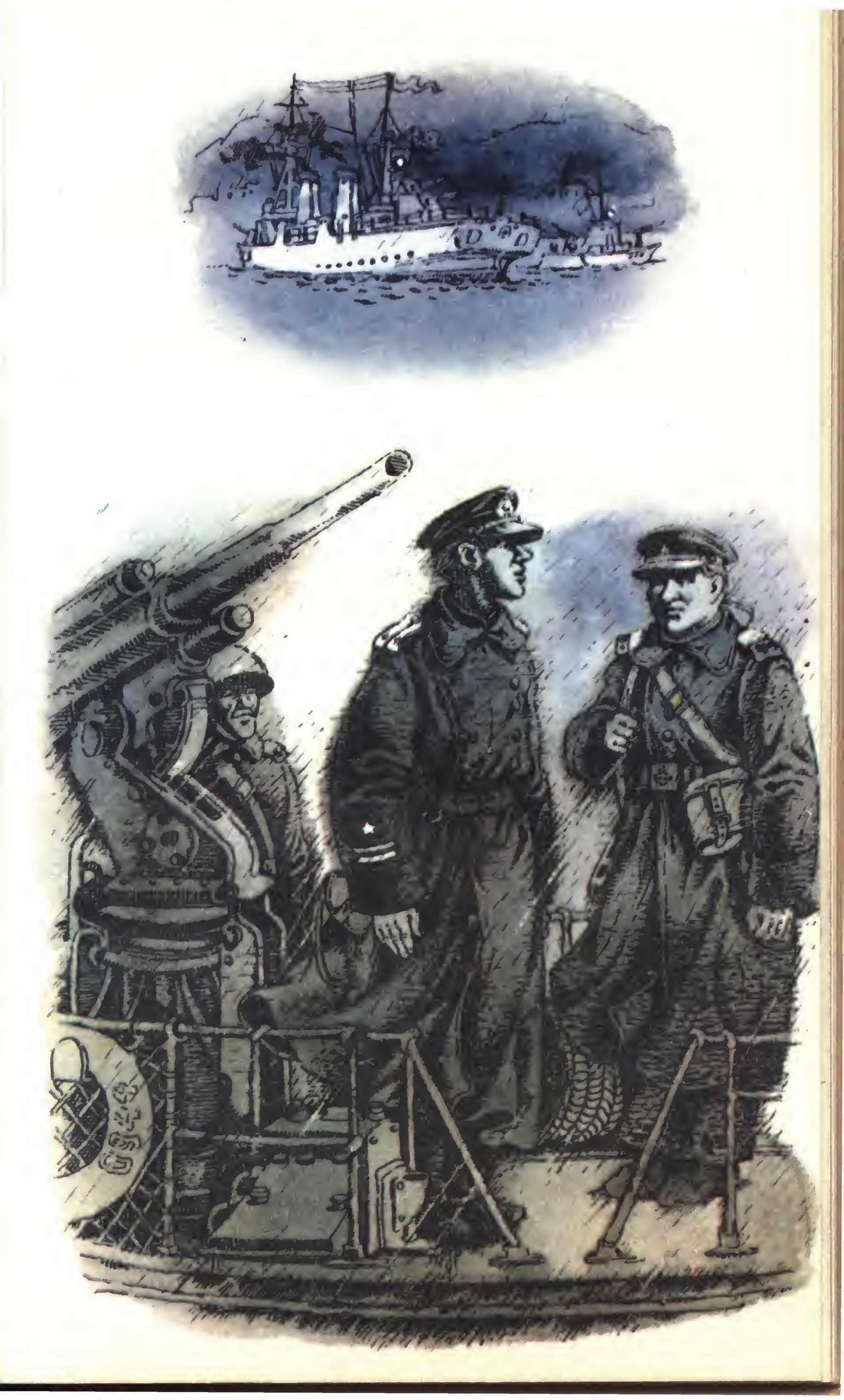
И, словно в ответ его мыслям, дорожка, повернув, поднялась на горку и такая живая синяя ширь ударила ему в глаза, что он невольно остановился.

Пестрея по склонам домиками, садами, дворцами санаториев, которые издали казались целыми и нарядными, горы круто сбегали к воде, окружая бухту с трех сторон и обрываясь двумя мысами. Море, гонимое с юго-запада ветром, вкатывало сюда крупные в барашках валы. Попав из вольного простора в тесноту бухты, они вырастали, выгибая спины, накатывались на берега и расплескивались по ним длинными шипящими языками, раскачивая по дороге все, что попадалось навстречу. И все в бухте шевелилось, билось, прыгало...

На середине ее мерно покачивался на якоре большой транспорт. Ближе к берегу быстро кланялись мачтами три серо-голубых миноносца. Возле них вздымались на волну наката сторожевые катера, ставшие на якорь подальше от пирсов, где их могло бить друг о друга. У пристаней, колотясь бортами и наскакивая на соседей, беспокойно кишели стайками мелкой рыбешки мотоботы, шхуны, сейнера и те маленькие катерки, чьи прозвища— «каэмки» и «зисенки» — показывали их размеры. Неуклюжие гидросамолеты давно уже выбрались из воды и теперь, присев на песке, как большие нахохлившиеся птицы, терпеливо выжидали, когда прекратится этот сумасшедший накат и можно будет сползти на притихшую воду, чтобы, с шумом пробежав по ней, вдруг оторваться и взлететь, потеряв кажущуюся свою грузность.

Накат и в самом деле был сильный, и привычное уже чувство беспокойства за катер охватило Решетникова. Вспомнив вдобавок, что боцман с утра ушел на базу раздобывать какую-то особую краску, он почувствовал, что ноги сами понесли его по дорожке. Однако, сообразив, что катер, наверное, уже перетянули за баржу со снарядами (как, по счастью, догадался он приказать перед уходом в штаб), лейтенант успокоился и снова повернулся к бухте, привлеченный действиями того единственного в ней корабля, который сейчас не отстаивался на якоре.

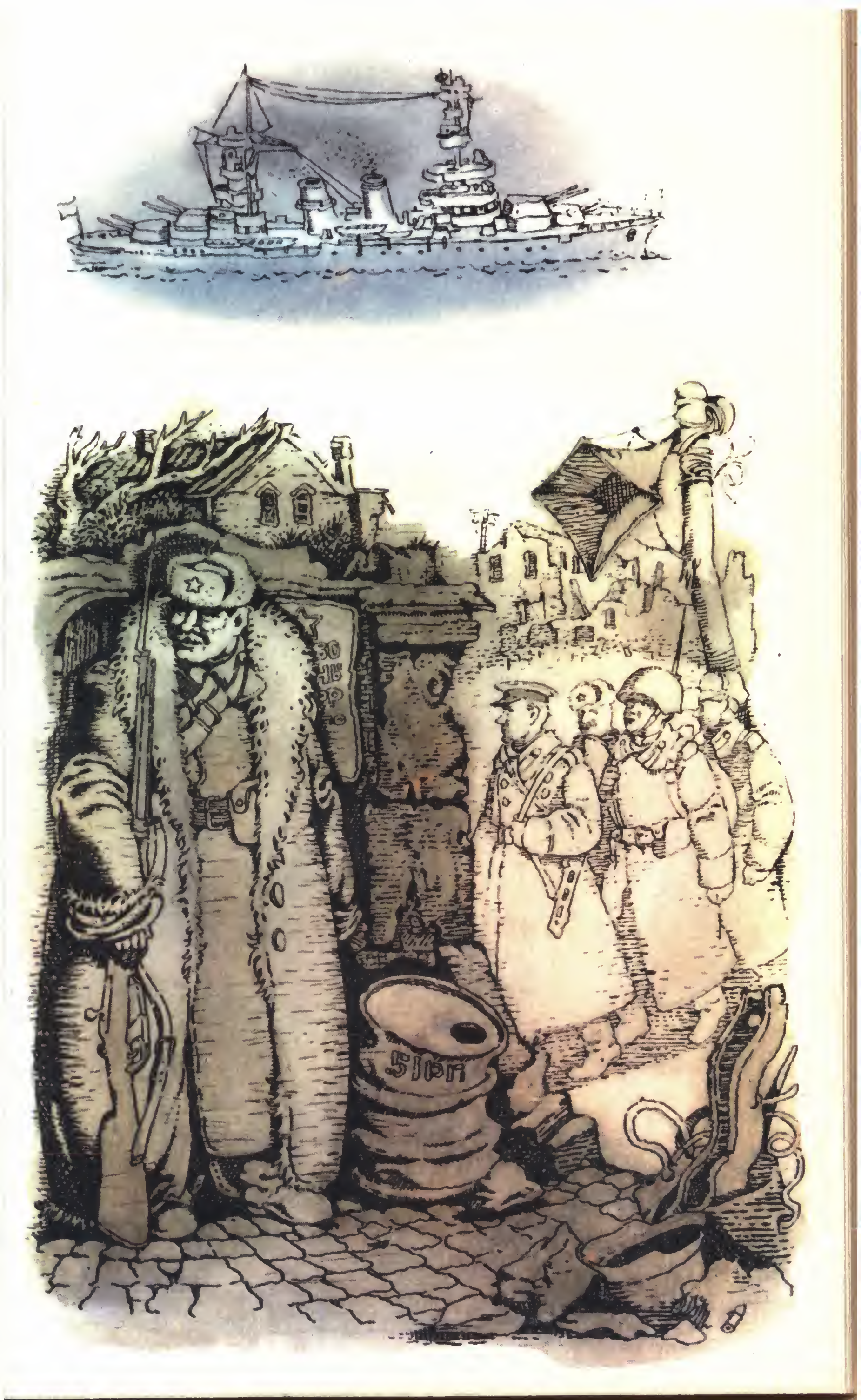
Это был сторожевой катер— совершенно такой же, как «СК 0944». Он полным ходом носился между мысами, зарываясь в волне, порой совсем исчезая в поднятых им брызгах, и время от времени за кормой его вставал черно-белый пузырь взрыва глубинной бомбы. Вдруг новый высокий столб воды — огромный и широкий — вырос совсем рядом с катером. Секунду-две он стоял в воздухе неподвижным толстоствольным деревом, настолько могучим и крепким, что ветер, не в силах его

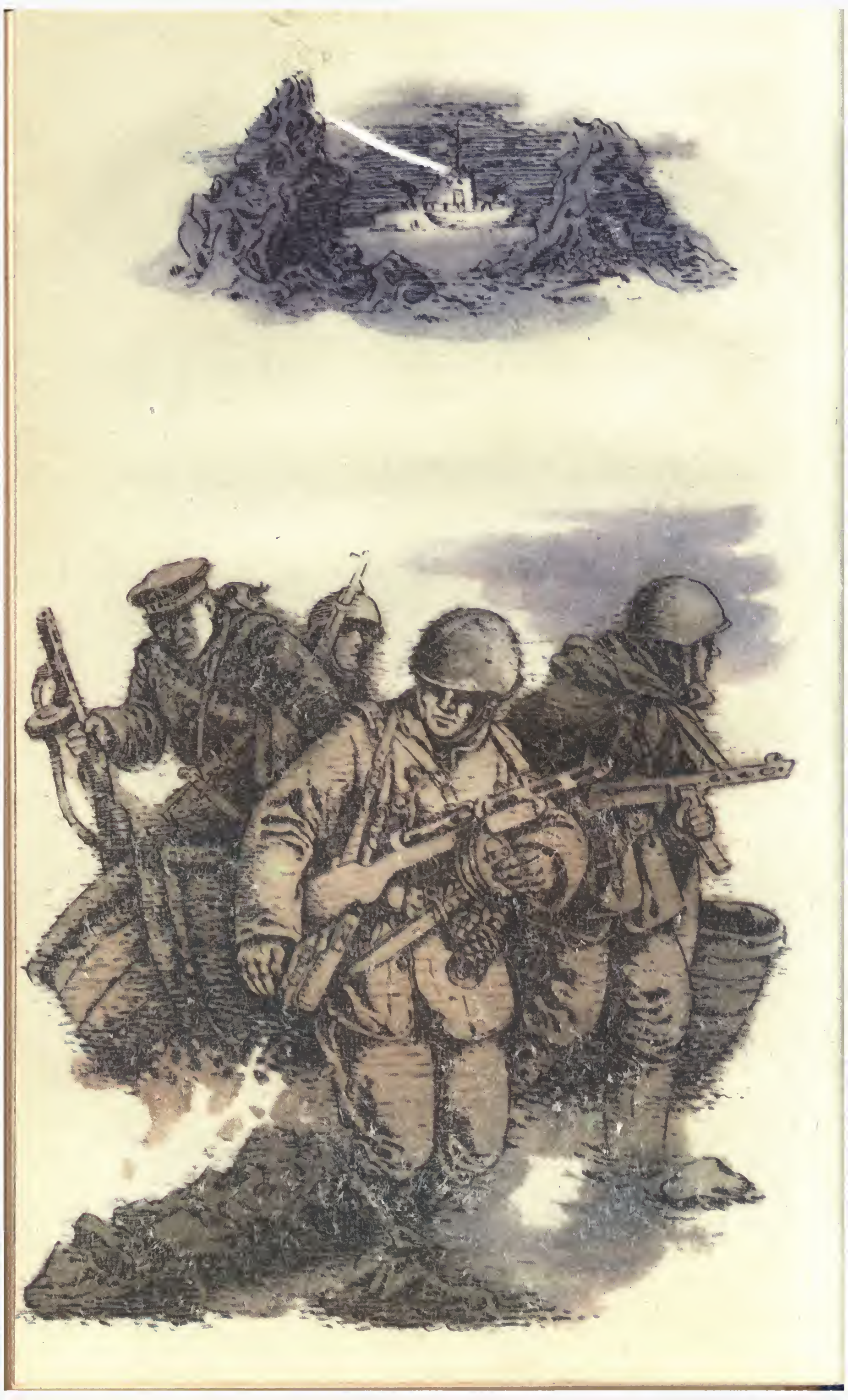
















согнуть, лишь пошевеливал дымную черную листву. Потом в уши ударил тяжелый, медленный и раскатистый грохот, и звук этот словно подрубил фантастическое дерево: оно тотчас дрогнуло, черно-белая пышная листва начала быстро осыпаться, обнажая голый ствол вертикально стоящей воды. Затем и он рухнул и рассыпался, открыв за собой катер, и Решетников облегченно вздохнул. Катер развернулся на обратный курс и упрямо сбросил одну за другой еще три бомбы.

Это называлось боевым тралением. Оно заключалось в том, что взрыв глубинной бомбы должен был заставить мину сдетонировать и взорваться в стороне от катера, который уже успел убежать вперед.

Угадать заранее, где именно взорвется очередная мина — поодаль от катера или прямо под его днищем,— никто не мог. Это зависело столько же от умения командира и от быстроты хода, сколько и от случая. Однако такое занятие считлось на катерах пустяком, не стоящим внимания, надоедливой, будничной работой, и ему не придавали значения.

Но в Решетникове, который ни разу еще не выходил на боевое траление, картина эта вызвала откровенную зависть и знакомое нетерпение. Ему уже хотелось скорее вывести катер из ремонта и начать боевую работу. Один такой пробег по воде, начиненной минами, сразу поставит все на свои места и покажет, что же такое в конце концов лейтенант Решетников — командир корабля или существо в нашивках... Вот где по-настоящему командир проявляет себя!.. Именно в таком поединке со смертью, когда только его воля гонит катер на возможную гибель, когда малейшее колебание и неуверенность будут замечены всеми, когда позорная мысль...

Но тут он сморщился и звонко чихнул — и тотчас услышал за спиной знакомый голос:

— На здоровье, товарищ лейтенант...

Он обернулся. Его нагнал Хазов с большой банкой краски в руках.

— Спасибо,— сконфуженно сказал Решетников, внезапно сброшенный с облаков на землю. Краска и боцман напомнили ему, что до «поединка со смертью», собственно, еще очень далеко и что покамест его ждут не подвиги, а обыкновенный, ежедневный командирский труд.

Некоторое время они стояли молча — Хазов по всегдашней своей неразговорчивости, Решетников, не зная, что и как говорить после того, что услышал от Владыкина. Он искоса посматривал на красивое, как бы печальное лицо боцмана, испытывая неловкость и смущение, и вдруг ему пришло в голову, что выражение постоянной печали и задумчивости, поразив-

шее его в лице Хазова с первой встречи, может иметь неожиданно простое объяснение: не вызывалось ли оно тем, что своим появлением на катере он, Решетников, надолго отодвинул от боцмана близкую, почти схваченную мечту — быть самому командиром катера?.. Смешанное чувство стыда, виноватости и запоздалого раскаяния шевельнулось в нем, и он повернулся к Хазову, чтобы тут же душевно сказать ему что-то хорошее, дружеское, с чего мог бы начаться серьезный разговор, но в носу его опять нестерпимо защекотало и он чихнул — громко, раскатисто, самозабвенно.

— Простыли вы, товарищ лейтенант,— сказал Хазов.

Еще утром Решетников, конечно, увидел бы в этом очередной урок и насмешку: вот видишь, мол, чего ты своим упрямством добился... Но теперь он услышал в этом что-то совсем другое — живое, простое, человеческое — и неожиданно для самого себя ответил:

— Вот не послушался вас, Никита Петрович, теперь и чихаю, как нанятый...

Все было ново в этом ответе: и признание своего упрямства, и сама интонация, свободная и дружеская, и то, что впервые назвал он боцмана Никитой Петровичем. И Хазов, очевидно, понял все это, потому что посмотрел на него так же открыто и дружески и — удивительная вещь! — улыбнулся. Засмеялся и Решетников, почувствовав, что какая-то стена между ним и боцманом рухнула и что жить теперь очень легко.

— Капитан третьего ранга советует на ночь сто грамм хватить,— так же свободно продолжал он, сам удивляясь тому, как просто, оказывается, разговаривать с боцманом.— Поможет, как вы думаете?.. И горчицы в носки...

— Должно помочь. Только лучше в бане попариться,— ответил боцман.

И они двинулись вместе к катеру.

Чувство радостного облегчения продолжало веселить Решетникова, и он шел, поглядывая сбоку на боцмана, осторожно несшего банку с краской, и удивленно спрашивал себя: что же изменилось в Хазове, из-за чего с ним сразу стало так легко и просто? И вдруг догадался, что изменилось что-то не в боцмане, а в нем самом — в его собственном отношении к Хазову.

Странное дело, тот не вызывал в нем теперь обычной настороженности и болезненного ожидания укола самолюбию. Наоборот, боцман, казалось, с явным любопытством и сочувствием слушал веселый вздор, который он понес, придя в отличное настроение. Ему почему-то вздумалось рассказать, как зимой приятели взялись в момент вылечить его от гриппа способом, похожим на тот, что рекомендовал Владыкин, и как ле-

чение закончилось тем, что «врачи» без задних ног остались на городской квартире, а пациент зачем-то поплелся на крейсер, но ночевал не в каюте, а у коменданта города... Рассказывая это, он весело, счастливо и жадно посматривал на небо, на море, на боцмана, на улицу городка, в который они вошли.

Все, что попадалось ему на глаза,— безобразно разваленные бомбежкой домики, воронки в мостовой, грузовик, чавкающий в грязи и рыдающий шестернями сцепления, пехотинцы, варившие что-то в котелке на костре, разложенном в подъезде обвалившегося дома, корабли, качающиеся в бухте, голые тополя, гнущиеся от ветра, который продувал все небо, холодное и синее,—все это казалось ему интересным, примечательным, по-новому занимало и останавливало взор. У ворот дома, уцелевшего более других, стоял часовой в необъятном овчинном тулупе с косматым воротником. Решетников с тем же счастливым любопытством посмотрел и на часового.

— Вот это постройка! Глядите-ка, товарищ Хазов! — рассмеялся он, точно в первый раз увидел постовой тулуп, но тут же замолчал. Неожиданная мысль осенила его. Он остановился перед часовым и так внимательно начал его рассматривать, что тот засмущался и на всякий случай стал смирно, опустив огромные рукава, в которых винтовка выглядела зубочисткой, Хазов выжидательно вскинул глаза на лейтенанта, но, тот щелкнул языком и двинулся вперед, увлекая его за собой.

— А что, боцман,— сказал он хитро и задорно, снова необычно (без прибавления «товарищ») обращаясь к Хазову,— а что, боцман, если нам штуки три-четыре таких на катер раздобыть, а?.. Чем вам не индивидуальная ходовая рубка? И тепло, и сухо, и ветер не прошибет, и в любой момент скинуть можно. Подумайте, рулевому в такой хате стоять — красота!..

Боцман оглянулся, окинул взглядом часового и второй раз за этот примечательный день улыбнулся.

— Соседи на смех подымут. Тулуп-то больше катера.

— Ну, и пусть смеются да мерзнут,— убежденно возразил Решетников и с прежним оживлением продолжал: — Значит, рулевому — раз, командиру — два, сигнальщику... нет, сигнальщику не годится, в таких рукавах бинокля не подымешь... Вам — три...

— Мне-то ни к чему, товарищ лейтенант, а вот комендорам вахтенным...— перебил Хазов, видимо начиная соглашаться.

— Правильно, и комендорам— два. Значит, пять штук,— категорически сказал Решетников и тут же с удовольствием подумал, что это не владыкинская «стрельба по площадям» а прямая наводка.— Завтра же вырвите на базе, не дадут — сам пойду. Да они дадут, весна на носу, куда им беречь...

Постовые тулупы и точно на другой же день появились на «СК 0944», немедленно навлекши на его команду прозвище «дворники», пущенное штатным острословом дивизиона, командиром катера «0854» лейтенантом Бабурчёнком. Отношения же Решетникова с боцманом резко изменились, как будто прогулка эта имела решающее значение.

Собственно говоря, боцман вел себя по-прежнему, но Решетников не чувствовал уже давления на свою волю, как и не видел более в боцманских советах желания унизить нового командира и доказать его непригодность к командованию катером, что мерещилось ему раньше. Поэтому, не боясь, он сам теперь встречал боцмана по утрам целым залпом приказаний. И каждый раз, когда по одобрению, мелькнувшему в глазах Хазова, понимал, что приказанием предупредил его совет, новая нужная мысль осеняла его, и смелости и решительности в нем все прибавлялось.

Он чувствовал себя теперь как человек, который долго боялся поплыть без пузырей и пояса и вдруг, отважившись попробовать, с удивлением обнаружил, что вода его держит и что вовсе не надо думать, какой рукой и ногой когда шевелить. Чувство это было настолько замечательным, что Решетников, и по натуре человек веселый и живой, стал еще веселее и общительнее, что сильно помогало ему ближе знакомиться с командой катера.

Этому способствовало еще и то, что катер из-за ремонта стоял вдали от дивизиона и того полуразрушенного санатория, где, отдыхая от тесноты и сырости катеров, катерники обычно жили между походами. Поэтому весь экипаж «СК 0944» жил на катере (для чего Быков приспособил отопление и даже расстарался светом от движка соседнего армейского штаба), и Решетников проводил с командой целые дни. Он появлялся в машине у мотористов, занимался с комендорами у орудий, с минерами у стеллажей глубинных бомб, засиживался в кубрике по вечерам. В этой совместной работе и в разговорах он незаметно для себя все ближе узнавал людей, и хотя по-прежнему мечтал о первом походе в душе был благодарен ремонту.

За это время он обнаружил, что те двадцать человек, которых до сих пор он объединял в смутном и безличном понятии «команда катера», все очень разные, все сами по себе, каждый со своим характером, привычками, взглядами, достоинствами и недостатками, и что у каждого из них до флотской службы была уж совсем неизвестная ему жизнь «на гражданке», определявшая их свойства. Оказалось еще, что знание сильных и слабых сторон каждого, а также и понимание их взаимоот-

ношений, дружеских, неприязненных или безразличных, может значительно помочь в командовании катером.

Конечно, это была не очень-то свежая мысль. И, наткнувшись на нее в своих ночных размышлениях, Решетников справедливо подумал, что хвастаться этим очередным «открытием Америки» ни перед кем не стоит и лучше оставить его для личного употребления. Но старая истина, до которой он дошел своим умом, увлекла его своей непреложностью, и он стал пользоваться всяким случаем, чтобы разгадать внутреннюю сущность каждого из своих моряков.

Здесь его ожидали удивительные неожиданности. Так, например, выяснилось, что рулевой Артюшин — балагур и весельчак, разбитной и несколько нагловатый красавец, которому катерная молва приписывала неисчислимое количество жертв среди женского населения базы, на самом деле отпрашивается каждый вечер на берег вовсе не для посещения очередной дамы сердца, в качестве которой все называли некую санитарку. Он действительно проводил отпускные часы в госпитале, но не у санитарки, а у радиста Сизова (раненного в том же бою, в котором был убит Парамонов), таскал ему те скудные лакомства, какие можно было раздобыть в разоренном войной городке, и отчаянно ссорился с дежурными врачами и санитарами, которые, по его мнению, не обеспечивали Сизову должного комфорта и лечения.

Об этом Решетников узнал при своем посещении госпиталя, когда он пошел туда познакомиться с Сизовым и кстати поговорить с врачами — ожидать ли его поправки или требовать в штабе другого радиста. После, в разговоре с Артюшиным о Сизове, лейтенант выяснил еще одну важную подробность: в свое время, при уходе из Севастополя, Артюшина сбросила за борт взрывная волна, и он мог бы вовсе пропасть (ибо контузия, по его словам, «отшибла всякое политико-моральное состояние» и он плавал, «как бессознательное бревно»), если бы не Сизов, который кинулся за ним в воду, поймал его и держал на себе, пока катер не изловчился их подобрать.

— Значит, с тех пор и подружились? — спросил Решетников, которому психологическая ситуация показалась вполне ясной.

Артюшин посмотрел на него с ироническим удивлением.

— А с чего ж он тогда за мной спикировал? Мы давно с ним дружки, с самóй Одессы.

Решетников смутился.

— Да, паренек действительно ничего,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.— Сколько ему лет-то?

— Шестнадцать. Морячок хороший. Тихоня только.

— Какой же тихоня, если за вами кинулся?
— Это он со страху.
— Непонятно,— сказал Решетников.
— За меня испугался. А для себя он ничего не сделает, больно тихий. До того тихий, аж злость берет. За ним не присмотришь — вовсе пропадет... Да вот, возьмите, товарищ лейтенант: вчера прихожу, а ему все этого не достали... как его... сульфидину. Главный врач уже когда приказал, а они чикаются.

Решетников самолюбиво вспыхнул: как и при первом знакомстве, в словах Артюшина ему снова почудился прямой упрек — какой же, мол, ты командир, если не знаешь, что твоему моряку нужно?..

— Я спрашивал, не надо ли чего, а он не говорит.
— Он скажет!..— зло фыркнул Артюшин.— Я на его месте дал бы жизни, все утки в палате взлетели бы, а он лежит да молчит.... Гавкнули бы там на кого, товарищ лейтенант, этак его два года на катер не дождешься...
— Я разберусь,— сказал Решетников.— Завтра там буду.

Артюшин помолчал и потом, глядя в сторону, спросил совсем другим тоном:

— Боцман говорил, замену ему в штабе хотите просить?
— Не знаю еще. Как с поправкой пойдет.

Артюшин поднял на него глаза.

— Дождаться б лучше... Радист больно боевой, без него катеру трудно будет,— сказал он, убедительно глядя на лейтенанта, но по взгляду его Решетников понял, что трудно будет не катеру без такого радиста, а самому Артюшину без друга.

Он усмехнулся.

— Ну вот... А говорили, тихий.
— Так он для себя тихий,— оживился Артюшин,— а для немца гроза морей и народный мститель, ей-богу! Старший лейтенант Парамонов два раза его представлял — за Керчь да за Соленое озеро, а он все с медалькой ходит, я уж смотреть не могу, перед людьми стыдно... Да ему за один последний бой орден полагается — поспрошайте ребят, как он ползком снаряды подавал, когда ему ноги посекло... У него к фашистам особый счет...

И он рассказал одну из тех тысяч юношеских трагедий, на которые так щедра оказалась война.

В сентябре 1941 года «СК 0944» конвоировал пароход, увозивший из Одессы раненых и эвакуируемые семьи. На рассвете «юнкерсы» — три девятки против трех катеров — утопили пароход и потом прошлись над морем, расстреливая из пуле-

метов тех, кто ухватился за обломки. Катера подобрали уцелевших. Среди них «СК 0944» нашел паренька — одной рукой он держался за пустой ящик, а другой поднимал над водой голову девочки лет десяти, стараясь дать ей дышать и не замечая, что она убита. До самой Ак-Мечети он так и просидел на корме молча у маленького мокрого тельца, а когда подошли к пристани, выскочил и побежал к двум другим катерам. Те выгрузили спасенных и ушли в Севастополь, а «СК 0944» остался чинить повреждения, и утром Артюшин снова заметил паренька: он сидел на пристани и молча глядел в воду. К обеду, увидев его на том же месте и в той же недвижной позе, Артюшин пошел к нему, чтобы затащить его на катер поесть. И тут выяснилось, что паренька зовут Юра Сизов, что убитая девочка была его сестрой, что на катерах он не нашел среди спасенных ни матери, ни отца (его везли в Севастополь с оторванной при бомбежке завода ногой) и что теперь ему, Юрке, остается одно — прыгнуть в воду, откуда он не сумел вытащить никого из родных.

Внезапная пустота, которая разверзлась в мире перед Юрой, потрясла и Артюшина, а неподвижный взгляд, каким подросток уставился в воду, рассказывая все это, не на шутку его испугал. Он уговорил командира катера не бросать паренька в Ак-Мечети, а взять с собой в Севастополь и куда-нибудь пристроить. Ремонт затянулся на четыре дня, и за это время Артюшин, который, «сам не зная с чего», привязался к Юрке, узнал, что тот — радист-любитель, коротковолновик с дипломом. Артюшин снова пошел к командиру, и все обошлось как нельзя лучше: Сизова оставили на катере добровольцем, а весной он стал штатным радистом и вполне себя оправдал и как моряк и как техник.

Артюшин говорил о Сизове так тепло и душевно, что Решетников подивился, откуда в этом насмешнике и зубоскале, попасть кому на язык опасались все на катере, взялось такое глубокое, почти отцовское чувство. Слушая его, Решетников особенно остро ощутил свое одиночество — вот не дает же ему судьба иметь в жизни такого друга, который и жалел бы его и думал бы о нем... Он настроился было посочувствовать самому себе, но с удивлением заметил, что думает совсем о другом: о том, что просить о замене радиста будет вовсе неправильно. Во-первых, неизвестно, кого еще дадут, а Сизов, видимо, парень стоящий, во-вторых, и на Артюшине разлука, несомненно, отразится, и тот потеряет свой веселый характер (который он, Решетников, в нем ценил, рассматривая артюшинские шутки как необходимые «психологические витамины»), и все это, вместе взятое, помешает катеру в бою.

Придя к такому выводу, Решетников поздравил себя с тем, что начинает, наконец, думать как командир: ход мыслей у него получился совершенно владыкинский. Обрадовавшись этому, он немедленно начал действовать. Сульфидин ему удалось раздобыть в армейском госпитале, наградные листы, залежавшиеся в штабе, произвели свое действие, и Владыкин лично вручил Сизову орден Красной Звезды. Об Артюшине же думать не приходилось: тот сиял как медный грош, работа в его руках кипела, и «психологические витамины» выдавались без карточек, поднимая настроение команды в трудном деле ремонта.

Как обычно бывает, успех подстегнул Решетникова, и он, что называется, «с ходу» выправил и свои отношения с главстаршиной Быковым, которые неожиданно разладились на пятый или шестой день его командования катером. Вначале они были хороши: механик нахвалиться не мог новым командиром, ибо тот с места горячо взялся за ликвидацию окаянной «трясучки», из-за которой «СК 0944» на дивизионе называли «маслобойкой» или «трясогузкой» с легкой руки лейтенанта Бабурчёнка. Решетников собирался уже доложить командиру дивизиона о необходимости поднять катер на эллинг, но, узнав, что для этого надо идти в Поти, наотрез отказался говорить о «трясучке» с Владыкиным. Быков нахмурился, и отношения его с новым командиром заметно окислились.

Это обстоятельство, правда, беспокоило Решетникова не так, как начавшие тревожить его в ту пору непонятные взаимоотношения с боцманом Хазовым, но все же мысль о том, что механик смотрит на своего командира косо, была ему неприятна. Поэтому лейтенант прилагал все силы, чтобы помочь катеру в другой его беде, в замене компрессора, необходимого при заводке моторов.

Дело это было нелегкое. Компрессор на северной базе катеров считался едва ли не самым дефицитным механизмом, а кроме «СК 0944», он пришел в негодность еще на трех катерах. При каждом посещении штаба Решетников обязательно заходил к дивизионному механику (которого командиры катеров почему-то называли между собой не по должности или по фамилии, а просто Федотычем). Но тот только молча отмахивался от него, как от мухи. Да Решетников и сам понимал всю ничтожность своих шансов на получение компрессора: конкурентами его были известные всем командиры заслуженных боевых катеров, а один из них вдобавок — лейтенант Бабурчёнок, который славился на дивизионе не только как признанный острослов, но и как безотказный «доставала» всяких дефицитных материалов.

Доставал их, собственно, его механик, мичман Петляев. До призыва из запаса он работал заведующим отделом снабжения крупной механической мастерской и навыки свои перенес на катерную службу: у него и здесь завелись всюду знакомства, он в точности знал, куда и когда прибывает какое-либо сокровище по механической части, а также от кого именно зависит получение его для катера. И тогда начинал действовать Бабурчёнок, добивавшийся необходимой резолюции. Сообразно разведывательным данным Петляева, лейтенант, попадая в Поти, появлялся в очередном кабинете — директора завода, флагманского механика Управления тыла или какого-нибудь начальника склада — и получал необходимую резолюцию, влияя на их психику либо природной своей веселостью и удивительным, ему одному присущим обаянием, либо прибегая к другому безотказному приему.

Он заключался в том, что, обычно жизнерадостный и шумный Бабурчёнок входил в кабинет, как в воду опущенный, и начинал вздыхать и горько жаловаться на то, что из-за отсутствия на базе дивизиона каких-нибудь паршивых прокладок или несчастного карбюратора боевой, заслуженный катер не может выйти на важное задание (в разговоре с людьми, далекими от оперативной жизни флота, Бабурчёнок тут таинственно намекал на особое значение этого похода, от которого зависят события ближайших месяцев войны). При этом его круглое живое лицо с тугими, похожими на румяные яблоки щечками, между которыми торчал смешной востренький носик, непостижимо приобретало такое унылое, даже трагическое выражение, что обычные жестокие слова отказа самый бездушный страж дефицитных богатств произносил с трудом и даже почему-то оправдывался. Слушая его неловкие объяснения, Бабурчёнок сочувственно кивал головой и время от времени повторял убитым тоном одно и то же:

— Вот ведь беда какая, а нам нужно... Как же быть?

Видимо, в нехитрой этой формуле была заключена какая-то гипнотическая сила, потому что, услышав в пятый или в седьмой раз такое заклинание и чувствуя на себе взгляд этих чистых и ясных глаз, устремленных на него с печальной надеждой и почти детской верой в чудо, любой охранитель механического добра ловил себя на том, что рука его тянется к перу, перо — к бумаге и что на заявке, каким-то образом очутившейся на столе, перо это само, как бы помимо его воли, выводит разрешительную надпись: «Отпустить»...

Примечательно было то, что лейтенант Бабурчёнок и сам толком не знал, зачем ему, собственно, все эти разнообразные дефицитные богатства, и добывал их из какого-то спортивного

азарта. Зато пользу этого хорошо понимал мичман Петляев: обменивая у механиков других катеров, в зависимости от спроса, клингерит на сверла, баббит на карбюраторы, асбест на какие-нибудь торцовые ключи, он постепенно создал свой золотой фонд материалов и инструментов, благодаря чему мог считать себя независимым от случайностей снабжения. И, узнав (как всегда, первым), что из Поти прислали один-единственный на весь дивизион компрессор, Петляев тотчас подсказал своему командиру, что́ тому следует сделать, чтобы заполучить компрессор для катера.

До «СК 0944», стоявшего в ремонте вдали от штаба, эта новость дошла много позже. Еще неделю назад Решетников покорно примирился бы с мыслью, что компрессор все равно ухватит Бабурчёнок, следующие дадут Усову и Сомову и уж только тогда вспомнят об «СК 0944» с его никому не известным командиром. Но в том новом для него состоянии уверенности в себе и в своей удачливости, которое стало для него уже привычным, Решетников помчался в штаб. В крохотной комнатушке Андрея Федотыча он застал всех троих конкурентов, каждый из которых действовал своим способом.

Аккуратный и выдержанный старший лейтенант Сомов пытался получить компрессор в полном согласии с установленным служебным порядком. Главным и единственным его оружием были акты об окончательной непригодности компрессора, подписанные самим же Андреем Федотычем.

Другой претендент, лейтенант Усов, рассудительный и тихий юноша с двумя орденами, избрал обходный маневр: он великодушно предложил снять свой катер с повестки дня, что заставило Андрея Федотыча вскинуть на него глаза. Тогда Усов так же негромко и спокойно пояснил, что компрессор у него не так уж плох и в умелых руках может работать, как часы, и если Андрей Федотыч пообещает присматривать за ним сам при возвращениях катера в базу, то нового и не потребуется (говоря это, Усов отлично знал, что Федотыч уже трижды копался в его компрессоре и, выбившись из сил, обозвал его «дырявым примусом»).

Бабурчёнок же выдвинул совсем новое предложение. По его мнению, решить, кому нужнее всего этот окаянный компрессор, без катерных механиков невозможно. Надо собраться с ними на какую-нибудь конференцию круглого стола и договориться по-хорошему,— в конце концов им виднее, ведь командиры катеров говорят с их слов. И тут же, забавно морща носик, добавил, что так как утром на контрольном тралении у него на катере наглушили мировую рыбу, то эту конференцию он предлагает устроить нынче же вечером, для чего приглашает

обоих своих конкурентов и их механиков, а также и самого Федотыча «на классную уху под юбилейным соусом», намекая на коньяк, снова присланный женой из Тбилиси.

Эта конференция была подсказана ему Петляевым, который уже договорился с обоими механиками (решетниковский катер он в расчет не принимал по причине отсутствия на нем серьезного командира). Смысл пакта заключается в том, что Петляев предоставляет им из своего золотого фонда множество мелких, но позарез нужных обоим приборов, инструментов и материалов. За это те обязуются не только не драться за компрессор, но, наоборот, убедить своих командиров, что можно пока походить и со старыми, а присланный уступить Бабурчёнку, которому без него просто труба.

Однако ни документация Сомова, ни тихая подначка Усова, ни дипломатия Бабурчёнка никак не срабатывали. Федотыч, соображая что-то свое, молча копался в потрепанной записной книжечке, где у него значились бедствия и претензии всех катеров, и, не дослушав Бабурчёнка, рассеянно махнул рукой на всех троих:

— Не скулите в служебном помещении. Думать мешаете. Тут по справедливости надо. Дам, кому всего нужнее.

— Тогда, значит, мне,— в каком-то внезапном вдохновении сказал Решетников из-за спин своих конкурентов, и все трое возмущенно обернулись.

Федотыч, прищурясь, устало на него посмотрел:

— А в честь чего же именно вам?

— Очень просто,— уверенно ответил Решетников.— Вот вы послушайте, товарищ капитан-лейтенант, и сами согласитесь.

— Попробуйте,— сказал Федотыч, не без любопытства рассматривая Решетникова.

— Ну вот, скажем, старший лейтенант Сомов: он ведь последние ресурсы добивает, все равно скоро поставите его на переборку моторов. Зачем же ему сейчас новый компрессор, так ведь?

— Допустим, так,— кивнул головой Федотыч.

— А лейтенанту Усову на днях «катюшу» будут устанавливать, все уж ему завидуют,— значит, тоже на приколе будет пока. Привезут из Поти еще компрессор, ему и дадите, а этот мне: я скоро из ремонта выхожу, мне плавать, а не стоять...

— Здрасте, Настя!— вскипел Бабурчёнок.— Что же, на всем дивизионе одна ваша маслобойка в строю? А я, например, не плаваю, что ли?

Решетников, благоразумно пропустив мимо ушей «маслобойку», миролюбиво повернулся к нему:

— Плаваете, Сергей Матвеевич, да еще как плаваете, сами того не знаете! С контр-адмиралом нынче ночью идете, вас оперативный уже ищет...

— Неужто в Поти? — оживился Бабурчёнок.

— Сам слышал,— подтвердил Решетников и с непонятной самому себе отвагой добавил: — Вот вы хвастаетесь, что все умеете достать. Неужели компрессора там себе не достанете?

Он ожидал какого-нибудь ядовитого ответа, но, к удивлению его и всех остальных, Бабурчёнок вроде даже обрадовался и весело подхватил:

— Факт, достану, и даже в целлофане с бантиками! Все ясно, более того: ясно и понятно! Товарищ капитан-лейтенант, отдайте компрессор юноше — неплохо товарищ соображает! А себе я уж как-нибудь раздобуду...

Федотыч помолчал и, пометив что-то у себя в книжке, поднял глаза сперва на Решетникова, потом на Бабурчёнка:

— Добро. Присылайте Быкова, завтра и начнем менять. А вы через час зайдите, бумажку флагмеху возьмете.

— Да мне не надо, я и так достану,— самонадеянно сказал Бабурчёнок.

— Нет, возьмете,— настойчиво повторил капитан-лейтенант,— для всех троих будете доставать. Хоть раз для общества постарайтесь, не всегда же для своего хутора... У меня все. Не мешайте работать.

И Федотыч опять уткнулся в свою «колдовку», где значились ранения, контузии, увечья и болезни, приобретенные катерами в боях и в походах,— никому не видный и мало кем знаемый боевой послужной список маленьких героических корабликов, второй год ведущих большую и тяжелую войну.

Каким-то образом,— может быть, благодаря Федотычу, которому Решетников на этот раз понравился,— о находчивости и энергии нового командира «СК 0944», сумевшего отнять компрессор у самого Бабурчёнка, стало известно на дивизионе. Дошел этот случай, конечно, и до Быкова, и тот по-своему оценил его, увидев в поступке Решетникова самое драгоценное, по его убеждению, командирское свойство: заботу о машине корабля. За долгую службу Быков повидал и таких командиров, которые считали, что их дело — играть на мостике рукоятками машинного телеграфа, а как ответит машинное отделение — это уж дело механика, с которого нужно только построже спрашивать. Новый командир опять приобрел его расположение, а о случае с ремонтом вала Быков великодушно забыл, тем более что, по совести говоря, с «трясучкой» можно было и плавать и воевать, а с ненадежным компрессором нель-

зя было ожидать безотказной заводки моторов, что, понятно, было важнее.

И это свое расположение Быков выразил в удивительной форме. Дня через три Решетников ушел на весь день в море на катере Сомова (Владыкин все чаще стал посылать его на других катерах — «для освоения ремесла»). Вернувшись к ночи и ложась на свою узенькую и короткую койку, он с удивлением почувствовал, что ноги его не упираются, как обычно, в переборку, а свободно вытягиваются в каком-то, невесть откуда взявшемся пространстве. Лейтенант включил свет и рассмеялся: часть переборки была вырезана и к отверстию был приварен аккуратный, даже покрашенный железный ящичек, для которого, видимо, пришлось занять в кают-компании низ левого посудного шкафчика (что утром и подтвердилось). Он снова лег, впервые за все это время с наслаждением протянув усталые ноги, и заснул вполне счастливым, успев только с гордостью подумать о том, что, кажется, и впрямь сжился со своим экипажем и что с каждым днем ему на катере все интереснее и легче.

Глава 8

В детстве человек обладает удивительной способностью одухотворять окружающие предметы и явления, видеть в вещах живые, лишь не умеющие говорить существа и воображать в них свойства почти человеческие. С годами эта способность обычно теряется: жизнь заставляет трудиться, бороться, иные, серьезные заботы занимают ум, сердце черствеет, воображение вянет — и человек разучается творить из порядком надоевших ему за долгие годы предметов и явлений особый мир, чудесный, волнующий, отдохновительный. И только в состоянии высокого напряжения всего существа, в моменты большого подъема — будь то любовь, вдохновенный труд, какое-то громадное горе или какая же огромная радость — человек вновь обретает забытую способность преображать мир. И мир снова, как в детстве, разделяет его чувства — все смеется, торжествует или рыдает вместе с ним и говорит о его любви, замысле, горе, победе.

Но спадает подъем, проходит любовь, закончен труд, утихает горе — и мир снова тускнеет. Краски его гаснут, мечта отлетает, предметы теряют свой голос, и чудесные их шепоты более не слышны: платок становится простым куском материи, чертеж — листом бумаги, орден — привычным отличием, знаком заслуг. И порой, глянув на них, затоскует человек о том прекрасном, совершенном, волнующем, что было в нем самом тогда, когда целовал он этот платок, спорил с чертежом и ви-

дел капли горячей своей крови в эмали ордена. Хотел бы он оживить вновь эти предметы, придать им прошлую силу рождения чувств, но сердце уже закрыто, и лишь воспоминание кольнет его тонким и острым своим жалом.

Алексей Решетников был как раз в том приподнятом состоянии нравственного подъема, когда восприятия обостряются, углубляются чувства, ум становится гибким и быстрым, что объясняется высоким напряжением всех духовных и умственных сил человека, и когда жизнь, работа, люди, природа — все кажется ему в особом, одухотворяющем свете. Обычно такое состояние и рождается успехом и само рождает новый. Так было и с Решетниковым: словно пелена какая-то спала с его глаз, будто путы свалились с рук — он видел ясно, что ему надо делать, и все, даже мелочи, делал удачливо, верно, как бы вдохновенно. Он сам не смог бы сказать, когда это началось. Видимо, один успех дополняется другим, тот — третьим, подобно тому, как первые гребки разгоняют тяжелый баркас, пока он не наберет ход и не приобретет того запаса движения, при котором гребцам остается лишь подгонять легкими ударами весел грузный его ход, разрезающий воду.

В этом счастливом состоянии Решетников сумел взять в руки свой первый в жизни корабль значительно скорее, чем мечтал об этом сам. Решающим обстоятельством было, несомненно, то, что с тех пор как отношение его к Хазову после разговора с Владыкиным резко изменилось, он неустанно и действенно искал в отношениях с остальными подчиненными верного и точного своего места. Так ему удалось это сперва с Артюшиным, потом с Быковым, так продолжал он узнавать, определять остальных — и скоро небольшое его войско начало для него проясняться.

Он не мог еще, конечно, сказать с уверенностью, кого, по выражению Владыкина, можно на смерть послать, а за кем в бою присматривать надо, но многое уже знал из своих постоянных встреч с людьми на занятиях, на ремонте и на отдыхе, из шутливых или серьезных бесед на пирсе в вечерние часы, когда бухта сумеречно темнела, но до очередного визита самолетов было еще далеко. Все это нужно было как-то свести в систему, подытожить, запомнить. Так возникла у Решетникова мысль завести записную книжку вроде той, которую он часто видел в руках Владыкина и в которую тот при разговоре порой вписывал что-то своим мелким, но очень четким почерком.

Эту книжку лейтенант Бабурчёнок по аналогии с известными «Мореходными таблицами», предусматривающими все случаи штурманской жизни, называл «психологическими таблицами». Он утверждал, что по ним Владыкин мог определить,

кто с кем поругается завтра из-за приемки горючего, кто когда может рассчитывать на орден, а кто — на штрафной батальон и кому какой сон приснится в будущую среду,— до того, мол, подробно и точно составлены там характеристики всех офицеров дивизиона, беспрерывно дополняемые.

Впрочем, что именно помечал там командир дивизиона, никому не было известно, в том числе и Решетникову, и, подумав, он решил сделать свою книжку, вроде той, о которой читал, кажется, в биографии Золя, куда знаменитый романист записывал о своих героях решительно все, начиная с цвета волос. Каждому из своих подчиненных Решетников отвел по равному числу страничек и для начала два вечера подряд добросовестно заносил туда их анкетные данные, места по боевому расписанию и прохождение службы.

При этом занятии выяснилось, что на катере все, за исключением лишь Сизова и Жадана, были старше своего командира. Хазову оказалось на десять лет больше, Быкову — на восемь, а «годком» лейтенанту нашелся только один: командир отделения минеров старшина второй статьи Антон Чайка, с которым Решетников действительно чувствовал себя свободнее, может быть, потому, что Чайка был секретарем комсомольской организации дивизиона и с ним еще в первые дни Решетников заговорил по душам. Именно Чайка раздобыл по его просьбе маленькую фотографию Парамонова, с которой и был увеличен портрет, висящий в восьмиместном кубрике. Обнаружилось еще одно не очень приятное для Решетникова обстоятельство: не говоря об остальных, даже Микола Жадан был в своем первом бою уже тогда, когда новый командир катера еще сдавал государственные экзамены при окончании училища...

На третий вечер дело дошло до главного: теперь можно было коротко и точно записать под фамилией каждого, что же представляет собой ее владелец как советский человек и как военный моряк. И тут Решетников понял, что никакой он не Владыкин и даже не Золя.

Начал он с лейтенанта Михеева, который по должности помощника командира катера открывал собой книжку. Решетников жил с ним бок о бок, все время наблюдал его и в повседневной службе, и на ремонте, и в отношениях с командой, но ничего не мог придумать, что о нем написать. Все в Михееве было в меру правильно спокойно, как говорится, нормально: ни плохого, ни хорошего. Судя по рассказам матросов, в бою, где погиб Парамонов, держался он неплохо. Но был какой-то «обтекаемый» — не привлекающий к себе ни внимания, ни участия и в то же время не отталкивающий от себя. Бывают же такие люди, о которых решительно нечего сказать!..

Решетников вздохнул и перешел к Быкову, фигура которого с недавнего времени стала для него совсем ясной. Он уверенно начал писать: «Патриот машины. Угрюм, но отзывчив. Скромен, неразговорчив...» — и вдруг вся эта затея показалась ему вовсе не нужной.

Лейтенант в сердцах захлопнул книжку. Вероятно, Владыкин записывал как-то иначе (он дорого бы дал, чтобы взглянуть, что там говорилось о нем самом),— а тут получалась какая-то унылая казенщина вроде классного сочинения на тему «Характерные черты героев романа «Обрыв». Да и к чему, собственно, эти записи? Не знает он, что ли, своих людей? Неужели надо записывать, что при первой возможности следует списать с катера моториста Лужского, проныру и шептуна, который никак не может примириться с тем, что он, в прошлом шофер какого-то ответственного трестовского замзава, прозябает на катере в должности рядового моториста, и поэтому подкапывается под старшину Ларионова и капает на Быкова? Или то, что Петросяна, заряжающего кормового орудия, при ночной стрельбе надо ставить к прицелу, потому что он горец-пастух и ночью видит лучше штатного наводчика Капустина?.. Нет, книжкой можно только засушить то живое и ясное, что пробуждается в памяти при каждом имени... Ну ее, эту литературу!..

Рассуждая так, он разделся и лег в койку, с удовольствием чувствуя, что ноги никуда не упираются даже кончиками пальцев, и уже совсем собрался заснуть, как вдруг его осенила неожиданная мысль. Он зажег свет и на странице книжки, отведенной Быкову, неторопливо и аккуратно написал одно только слово: ногохранилище.

Этим словом лейтенант Бабурчёнок, который после случая с компрессором почувствовал к Решетникову внезапное расположение, перешел с ним на «ты» и стал захаживать на «СК 0944», окрестил быковское изобретение. Конечно, нельзя было короче и выразительнее записать всю историю взаимоотношений механика катера с новым его командиром и одновременно объяснить, что́ за человек этот «угрюмый, но отзывчивый» Быков. Решетников поздравил себя с очередным открытием: вот так и надо вести эту книжку — записывать в ней не «характеристики» людей, а их поступки, которые именно и характеризуют их!.. И тут же написал на странице Артюшина: сульфидин. Так же быстро нашлась запись и для Жадана: магнит. Впрочем, подумав, Решетников написал то же слово и на страничке Антона Чайки. Это было справедливо: именно Чайка пришел на помощь Жадану, когда тот ошалело смотрел в воду у пирса, куда только что в спешке вывернул бачок,

в котором были им же самим положенные вилки, ложки и ножи со всего катера. Свидетели этого несчастья покатывались со смеху, глядя на его растерянное лицо, а Жадан чуть не плакал, ненавидя себя за растяпистость и ужасаясь, как же будет он сейчас кормить матросов ужином. И когда Чайка, полностью оценив положение, не поленился притащить из мастерских намагниченную болванку и начал удить ею погибшую было утварь, Жадан ожил — и с тех пор готов был за Чайку в огонь и в воду.

Так начала заполняться решетниковская «колдовка», которую он носил всегда при себе. То и дело в ней появлялись записи — короткие и никому не понятные, но для него означавшие события, поступки людей, их свойства. И только странички, отведенные боцману Хазову, оставались пустыми.

С каждым днем боцман становился Решетникову все ближе остальных. Лейтенант настоял на том, чтобы он обедал и ужинал в кают-компании вместе с остальным командным составом, утверждая, что боцман, какое бы звание ни имел, по существу, является вторым помощником командира, и, подчеркивая это, называл его вне службы Никитой Петровичем. Вечерами он часто уводил его к себе в каюту или тащил прогуляться перед сном по стенке — и там они разговаривали на самые разнообразные темы.

Обычно говорил Решетников, а Хазов больше молчал. Но молчал он как-то особенно: в самом молчании его чувствовался несомненный интерес, а в коротких репликах было явное понимание, и порой они наводили Решетникова на новые мысли. Ничего другого для него пока не требовалось: он был из того сорта людей, которым необходимо думать вслух и мысль которых в молчании сбивается или вянет. Наоборот, в разговоре она в нем играла, он делал тогда счастливые для себя находки и лучше их запоминал, а то, что собеседник молчал, его даже устраивало.

Конечно, Решетников мог записать на боцманских страничках уже много выразительных слов, которыми, как вехами, отметился бы его далеко не прямой путь сближения с Хазовым. Но оттого ли, что из них трудно было отобрать наиглавнейшее, самое определяющее, или из какой-то почти суеверной боязни испортить едва начинающие крепнуть отношения, которые были для него так дороги и которые он не смел еще называть дружескими,— он не решался начать. Ему казалось, что если найденным им способом можно обозначить свое отношение к любому другому человеку, то к Никите Петровичу, к его поступкам или суждениям ярлычка никак не прилепишь и что это так же невозможно, как записать словами музыку,

Но, впрочем, он все-таки сделал первую запись, хотя событие, отмеченное ею, само собой врезалось в память как некое открытие.

Произошло оно после одного значительного разговора с лейтенантом Бабурчёнком. Тот нравился Решетникову все больше. Ему начинало даже казаться, что Сережа Бабурчёнок в какой-то степени может заменить ему Ваську Глухова, который теперь воевал на Балтике. Решетникову явно недоставало именно такого дружка-сверстника, с которым можно было и пооткровенничать, и посмеяться, и посоветоваться о разных пустяках, но от которого не к чему требовать того, что связано с большим и значительным понятием «друг». А именно такие беспечные, приятельские отношения у них сами собой и налаживались.

Однажды, возвращаясь с командирских занятий (Владыкин собирал на них всех, кто не был в море, и строго за этим следил), Решетников припомнил почему-то разговор у Федотыча и поинтересовался, как же это Бабурчёнок так легко, без боя, уступил тогда такую драгоценность? Тот, посмеиваясь, признался, что новый компрессор, который он сумел в свое время раздобыть, давно уже ждал его в Поти, но катер все не мог туда попасть, а когда Решетников сообщил о походе с контр-адмиралом, обстановка изменилась.

— Повезло тебе, Сергеич,— заключил он, подчеркивая этим обращением свое особое расположение к Решетникову,— прямо сказать, повезло... Кабы не это, не видать тебе компрессора, как своих ушей,— такую хитрую механику мой механик тогда подстроил...

Однако этой хитрой механики Решетникову он не раскрыл, умолчав и о пакте Петляева, и о дипломатической ухе, за которой пакт должен был оказать свое рассчитанное действие. По правде говоря, рассказывать об этом Решетникову ему совсем не хотелось: было в петляевском замысле что-то циничное, отталкивающее, нечестное по отношению к товарищам, таким же командирам катеров; и еще тогда, у Федотыча, лейтенант Бабурчёнок раскаивался, что послушался Петляева и заварил эту паршивую уху. Потому так и обрадовала его новость о походе в Поти, развязавшая ему руки, и потому же, вероятно, он почувствовал невольную благодарность к Решетникову, который, сам того не зная, помог ему выпутаться из неприятного положения.

И тут же, как бы в отплату, Бабурчёнок великодушно предложил Решетникову любую помощь в ремонте материалами и деталями.

— Твой этот Быков какой-то малахольный, с ним пропадешь,— сочувственно сказал он.— Никакой оперативности, я еще Парамонову это говорил. Все он в стороне, все в одиночку... А механикам дружно надо жить, колхозом, делиться друг с другом: нынче я тебе клапан, завтра ты мне какую-нибудь, черт ее знает, фасонную прокладку... У настоящих механиков, кто за свое дело болеет, вообще между собой всегда какая-то спайка, товарищество, взаимовыручка, а у нас на дивизионе, ты приглядись, особенная. А кто этого добился? Мой Петляев. Вот твоего Быкова недолюбливают, а Петляева на руках носят. Чуть что — к нему: всем поможет, все раздобудет, чего другим и не снилось. Настоящий хозяин!.. Я тебе по дружбе говорю, Сергеич: простись ты со своим мямлей, подыщи молодого, шустрого, делового — тебе же легче служить будет... Да что далеко искать? — вдруг воодушевился Бабурчёнок, решившись окончательно облагодетельствовать нового приятеля.— Хочешь, я тебе своего Слюдяника отдам?.. Старшина первой статьи, орел, мотор знает — прямо жуть! Второй год у меня командиром отделения мотористов плавает, я бы из него уже механика себе сделал, если бы не дали из запаса Петляева... Да он ему и не уступит, Петляеву,— ртуть-парень, и работа в руках горит, и все из-под земли достанет, это тебе не Быков! Его давно пора в главстаршины произвести да в люди выводить!.. Я весной его Парамонову сватал, да покойник привык к своему Быкову — и ни в какую... А тебе зачем к нему привыкать?.. Ну, так сговорились, что ли? Завтра к Владыкину, доложим — он тут же и приказ: обожает выдвиженцев — из матросов да в офицеры, из мотористов — в механики...

Бабурчёнок навалился на Решетникова со своим неожиданным предложением так напористо, что тот растерялся и даже обещал подумать. И только добравшись до катера и оставшись один, он точно пришел в себя, и ему стало стыдно и неловко, будто, не сумев сразу ответить отказом, он как бы предал Быкова.

Но, словно нарочно, утром Быков принес ему на подпись повторную заявку Федотычу на всякие мелочи, из-за которых задерживалась сборка левого мотора, и Решетников предложил ему сперва поспрошать у мичмана Петляева, не выручит ли тот, чем сможет. Быков, и так озабоченный своими неполадками, еще больше насупился.

— Нет уж, товарищ лейтенант, как хотите, а к Петляеву я на поклон не пойду,— твердо сказал он.— Выручить-то он выручит, да потом за два болта цельный мотор из меня вытянет.

— Как знаете,— несколько раздраженно ответил Решетников, подписывая заявку, и подумал, что Бабурчёнок, пожалуй,

прав: тяжел Быков, неуживчив с другими, и, конечно, катеру от этого пользы мало. И вчерашнее предложение показалось ему не таким уж диким. Во всяком случае, о Слюдянике стоило подумать, примериться, взвесить...

Но ни примерять, ни взвешивать ему не пришлось — так неожиданно повернулось все дело.

Это произошло дня через три-четыре на партийно-комсомольском собрании, втором за время службы его на дивизионе. На повестке стоял доклад инженер-капитан-лейтенанта Менделеева (Решетников не сразу сообразил, что это просто Федотыч) о мерах ускорения и улучшения послебоевого ремонта. Прения пошли с места как-то вяло: словно на каком-нибудь производственном совещании, тянулась нудная перебранка мотористов, механиков и снабженцев, упрекавших друг друга в технических неполадках, интересных лишь им самим, в каких-то недоделках и недодачах. В зале (собрание шло в холодном, но зато просторном зале полуразрушенного санатория) стоял шум, мешавший слушать, и Решетников вдруг обнаружил, что его занимает не плохая отливка никому не известной детали, а то, откуда это тянет подлая, тонкая струйка сквозняка, леденящая колени. И, встретившись взглядом с лейтенантом Бабурчёнком, который сидел поодаль, на подоконнике, он похлопал себя по губам, как бы прикрывая зевок, в ответ на что Бабурчёнок завел глаза под лоб, смешно клюнул носом, словно заснул, и, встряхнувшись, сделал преувеличенно внимательное лицо.

Наконец Владыкин, который, недовольно хмурясь, слушал выступления и не раз уже наклонялся к другим членам бюро, встал и призвал коммунистов говорить о главном, а не мельчить вопроса: главное — люди, а тут говорят только о технике. Едва он сел, в пятом ряду поднялся со скамьи Хазов и попросил слова, предупредив, что именно о людях и будет говорить.

Решетников не представлял себе, как Никита Петрович разговаривает на народе, и потому с любопытством приготовился слушать. Первые же слова Хазова насторожили его: тот, видимо, собрался говорить о том же, что недавно так нахваливал Бабурчёнок,— о спайке и взаимной поддержке механиков дивизиона.

Начал он с того, что всякий хороший механик, как и всякий толковый боцман, обязательно старается прикопить на черный день и инструмент, и материалы, и все, что нужно ему в его хозяйстве: снабжение, мол,— дело хорошее, а свой запас кармана не тянет. Не с нас это началось, не нами и кончится («Может, только при коммунизме, когда даже механикам всего бу-

дет хватать»,— добавил Хазов). Видимо, с такой запасливостью приходится мириться, да, по совести говоря, неужели за каждой шайбой бегать к начальству? Вот и получается, что у катерных механиков свои склады, без всяких там накладных и фактур, а на веру, по товариществу: я тебе помогу, ты мне. Дело не в самих запасах, а в людях, которые их создают, и в том, как их создают.

И тут он неожиданно назвал мичмана Петляева, который ухитрился нахватать столько дефицитного добра, что это создало ему среди катерных механиков особое и не очень понятное положение.

— А чем плохо, что Петляев не такая шляпа-растяпа, как другие? — вызывающе спросил с места лейтенант Бабурчёнок.

Хазов повернулся к нему и некоторое время молчал, отчего Решетников с беспокойством подумал, что реплики, наверное, сбивают его. Но тут же Хазов сказал спокойно и жестко:

— Хотя бы тем, что такой вопрос задает коммунист и морской офицер.

Бабурчёнок покраснел, и Решетников заметил, что Владыкин одобрительно кивнул головой. Хазов продолжал говорить, смотря на лейтенанта Бабурчёнка, как будто ему удобнее было беседовать с одним человеком, чем держать речь.

По этому вопросу видно, сказал Хазов, что чуждые флоту деляческие привычки Петляева, которые он принес с собой с «гражданки», не тревожат даже командира катера, который наблюдает их чаще и ближе других. Чего же тогда удивляться, что они не тревожат остальных,— больше того, забавляют и вызывают одобрение: вот, мол, деляга, все умеет достать, нам бы на катер такого!.. И за что, собственно, придираться к человеку? Не ворует, не мошенничает, просто умеет вовремя разузнать и вовремя раздобыть! Ну, а раз к Петляеву так добродушно относятся, понятно, что у него уже появились последователи вроде, скажем, Слюдяника или механика «СК 0874» Страхова,— а это еще хуже и опаснее. И уж совсем плохо, что никто не говорит о том, как методы Петляева отражаются на боеспособности катеров.

— При чем тут боеспособность? — выкрикнул Бабурчёнок так, что Решетников невольно обернулся на него. Весь красный, зло сощурившийся, наклонившийся с высокого подоконника вперед, он чем-то напоминал сейчас рассерженного, фыркающего кота, готового спрыгнуть с забора.— Наоборот, только из-за Петляева у меня катер и ходит без отказа, все знают!

— Точно, товарищ лейтенант,— ответил Хазов,— так это ваш катер. А другие?

И он заговорил о том, что «золотой фонд» Петляева (или,

как он назвал его, «петляевский лабаз») служит не для помощи другим, а именно для обеспечения своего катера. Вот тут все валили на недодачи, на нехватки, дивизионный механик руками разводил: не присылает, мол, главная база. А никто не сказал правды, что зависит все не от главной базы, а от «лабаза»: получат там механики дефицитную деталь — выйдет катер на боевое задание, а невыгодно окажется хозяину «лабаза» расстаться с ней — катер будет ждать, когда пришлют из Поти. Вот и получается, что боеспособность катеров зависит не от штаба, а от Петляева: как захочет, так и будет. И ведь об этом знают все механики и мотористы, знают, да молчат. Почему молчат? Не хотят лишаться такого удобного «лабаза», где на менку все достанешь? Или побаиваются его хозяина, который такую силу забрал, что даже коммунисты о нем только шепотком говорят, и то по уголкам? Известно ли коммунистам дивизиона, каким не очень товарищеским способом кандидат партии Петляев недавно собирался отнять у других катеров единственный присланный главной базой компрессор, хотя, как потом оказалось, один они с командиром катера сумели уже раздобыть в Поти?

Теперь уже все посмотрели на Бабурчёнка. Тот сидел, неестественно выпрямившись, щеки его побелели и как бы опали, и Решетников с каким-то странным чувством неловкости отвел взгляд.

Слушая Хазова, он стал понимать, что́ скрывалось за шутливым выражением лейтенанта Бабурчёнка «хитрая механика моего механика».

Оказалось, что в безобидном «золотом фонде» Петляева были такие детали, из-за отсутствия которых другие боевые катера подолгу не могли выйти в море, то есть получалось так, что, припрятывая эти детали для себя или для выгодного обмена, Петляев, по существу, играл на руку фашистам. Оказалось, что эти дефицитные детали для «золотого фонда» послушно раздобывал офицер-коммунист и что это занятие не было ни веселой игрой, ни своеобразным спортом, каким оно казалось всем, в том числе и Решетникову: оно было, по существу, грабежом других катеров, нуждающихся в том, что перехватывал у них «доставала» Бабурчёнок. Оказалось еще, что никакой взаимной поддержки и товарищества среди катерных механиков не было и в помине: по существу, здесь бытовали древние отношения оборотистого кулака и зависящих от него бедняков, и Быков был прав, говоря, что за два болта Петляев вытянет потом целый мотор...

И тут же Решетников с внезапным стыдом вспомнил, что вот-вот готов был сменять Быкова на Слюдяника, который

принес бы с собой на катер дух беспокойного и алчного стяжательства, воспитанный в нем Петляевым, дух грязной спекуляции на чужой нужде, отвратительный блатмейстерский дух, который, как раковая опухоль, пополз бы с бабурчёнковского катера на решетниковский, заражая людей...

После тех удивительно счастливых, каких-то светлых и чистых дней, которые последнее время Решетников провел в начинающейся дружбе со своим катером и его людьми, все это так ошеломило его, почти потрясло, что весь дальнейший ход собрания пошел как-то мимо него, параллельно его смятенным и трудным мыслям. И поэтому когда внезапно захлопавшие залпы и вой сирены прервали собрание, он выскочил из санатория, словно обрадовавшись.

Налет был не очень серьезный, но настойчивый: несмотря на плотный огонь катеров, расползшихся на ночь по всему побережью бухты, самолеты пять или шесть раз принимались кидать бомбы на транспорт, пришедший под вечер с боеприпасами. Решетников добрался до своего катера лишь к третьей атаке.

Стрельба как бы облегчила Решетникова, но, придя после отбоя в каюту, он снова вернулся мыслями к тому, что происходило на собрании до сигнала тревоги.

Все вспоминалось ему в каком-то тумане. Больше других запомнился Бабурчёнок, растерянный, какой-то непривычно жалкий. Он подтвердил историю с «пактом» и очень искренне сказал, что только из слов Хазова понял свою глупую и позорную роль «доставалы» и что, не разобравшись в существе петляевского «золотого фонда», казавшегося ему невинной забавой, простым удобством для катера, он был плохим офицером и слепым коммунистом.

И в глазах Решетникова Бабурчёнок — беспечный, вечно веселый и самонадеянный удачник, покоряющий каким-то особым своим обаянием, смелый и страстный боевой командир катера, Бабурчёнок, еще вчера казавшийся тем, кто может стать отзывчивым, надежным, веселым дружком,— стал совсем не таким, каким представлялся воображению, вдруг потускнел, увял, сник.

Вся ночь понадобилась Решетникову, чтобы осмыслить то, что вызвали в нем эти открытия, и заснул он лишь под утро. Больше всего он думал о самом Хазове, который в обыкновенном как будто блатмейстерстве Петляева сумел разглядеть угрозу боеспособности и жизненности всего дивизиона и, увидев эту угрозу, немедленно показал ее всем коммунистам и комсомольцам.

Почему именно Хазов сделал это? Ведь, кроме него, многие хорошо знали о петляевском «лабазе», но либо боялись заговорить о нем, либо не видели и не понимали опасности, какую таил в себе этот чуждый боевому коллективу обменный центр — какая-то черная биржа, тайный рынок, подобный тем, что, словно поганки на сырости, вырастают возле больших гаражей, всюду, где есть механизмы и машины и где для них не хватает нужных деталей и материалов. Даже Быков и тот, отлично понимая природу и самого Петляева, и его «лабаза», тоже молчал. Почему — было непонятно, но уж, конечно, не из страха перед Петляевым.

И Решетников долго искал слово, каким можно было бы обозначить это самое «то», чего не хватало ни Быкову, ни ему самому, ни десяткам других коммунистов и комсомольцев дивизиона. Так и не найдя такого слова, он заснул.

Но для самого события определяющее слово он нашел (впрочем, сказал его сам Никита Петрович): лабаз.

Этим словом Решетников и открыл, наконец, записи на страничках, отведенных Хазову. Слово было странное, мертвое, вылезающее из старого, разрушенного революцией мира купли, продажи, обмана, скопидомства, стяжательства,— чужое, опасное слово, порождающее чужую, отравляющую человека психологию. Однако найдено оно было удивительно правильно и означало для Решетникова очень многое.

Хазов стал еще ближе, еще необходимее ему. И хотя думал он теперь о боцмане с чувством глубокого уважения, как о человеке, который стоит в нравственном отношении много выше его самого, в вечерних разговорах их появилась какая-то новая близость. Новостью в них было и то, что порой,— особенно когда бухта, притихшая и задумчивая, бесшумно сверкала лунной дорогой, а в высоком светлом небе не брунчал еще надоедливый гул немецких самолетов, выжидавших более выгодного освещения,— Никита Петрович начинал говорить сам. То ли поддавался он молодой нетерпеливой жажде Решетникова знать и понимать все, что его окружает, то ли подкупала его сердечность, с какой рассказывал тот о семье, о детских своих годах на Алтае, о Ваське Глухове, с кем мечтал о флоте, но Хазов начинал отвечать на его вопросы охотнее и открывать кое-что и в себе.

Так Решетников узнал, что Хазов был из старинной флотской семьи. Домик в Севастополе, в Петровской слободке, в котором выросло четыре поколения черноморских матросов, пережил обе осады; по крайней мере еще в июне, в дни самых ожесточенных бомбежек, Хазов нашел его пустым, но уцелевшим. Только выбиты были все стекла, развалено крыльцо да в

садике вырваны снарядами деревья и исчезла скамейка под грушей, где слушал он рассказы деда Аникия Ивановича о Севастопольской обороне и о бастионах, куда тот вместе с мальчишками таскал арбузы и воду для отца и других матросов. Там, на четвертом бастионе, французская бомба убила прадеда, артиллерийского квартирмейстера с «Уриила», и место это Хазов отлично помнил, хотя дед привел его на бастион лишь однажды, когда ему было всего восемь лет,— ровно столько, сколько было самому деду в год Севастопольской обороны.

Утром того дня к ним пришел усатый матрос, весь обвешанный пулеметными лентами (всего неделю назад в Севастополь ворвались полки Красной Армии), и Никита, закричав на весь садик: «Батька приехал!»— кинулся к нему, потому что именно таким и представлял себе отца, которого плохо помнил, расставшись с ним шести лет от роду. Но матрос тихонько отстранил его и, подойдя к Аникию Ивановичу, сказал, чтоб Петра больше не ждали, так как он погиб на бронепоезде «Вперед за революцию» почти год тому назад на Украине в боях с немцами. Мать упала на траву и закричала диким, истошным голосом, а дед взял Никиту за руку и повел на четвертый бастион.

Всю дорогу Никита плакал, а дед спотыкался, будто плохо видел дорогу, и, добравшись до бастиона, долго сидел на старинном орудии, молча глядя на край бруствера, где из белых камешков был выложен в земле аккуратный крестик. Потом вздохнул и сказал, что вот, мол, отец и сын его —оба погибли в бою, как полагается матросам, а он все коптит небо в тягость себе и другим. Он кряхтя наклонился, подправил выбитые чьей-то неосторожной ногой камешки и сказал Никите, чтобы тот приходил сюда присматривать за крестиком, потому что ему самому сюда больше не добраться. И правда: с того дня дед либо сидел на скамейке под грушей, либо лежал на койке и года через полтора умер, так и не выбравшись больше на бастион.

Дед в рассказах боцмана занимал главное место. От деда Никита узнал и об отце —рулевом унтер-офицере миноносца «Гаджибей» и члене судового комитета, а также о многих неизвестных событиях и понятиях. Отец, оказывается, тонул в Цусиме — и Никита узнал, что такое Цусима. Второй раз Петр Аникиевич тонул на миноносце «Живучий»— и так Никита услышал о первой мировой войне. Отец топил в Новороссийской бухте «Гаджибея» — и Никита узнал о революции и о том, почему и зачем черноморские матросы своими же руками взрывали и топили свои же корабли. А погиб отец далеко от моря, в степи,— и так из слов деда Никита стал понимать, что такое

гражданская война и что такое матросы революции. Дед же рассказывал ему о флоте, о кораблях, о машинах, минах и орудиях, о турецкой войне, которую провел на пароходе «Великий князь Константин», откуда спускали маленькие минные катера, об офицерах, которых любили и уважали матросы, и об офицерах, которых ненавидели. Флотское мужество, матросская крепкая спайка и гордость за флот переходили из дряхлеющего сердца в открытое миру, жадное к жизни, маленькое и горячее детское сердце, и к десяти годам Никита уже знал, что его жизнь пройдет на флоте так же, как прошла жизнь отца, деда и прадеда.

Ремонт катера подходил уже к концу, и для таких долгих душевных разговоров времени было все меньше. Последние недели Владыкин то и дело посылал Решетникова в море — то на катере старшего лейтенанта Сомова, то с Бабурчёнком, который, отделавшись с петляевской истории выговором, както повзрослел, но в бою стал еще отчаяннее, то с командиром звена Калитиным. Задание всегда давалось одно: присматриваться ко всему, что делается на катере в походе, а случится — и в бою, и мотать все на ус.

Сперва Решетников даже обиделся: не мальчишка же он, в самом деле, чтобы изображать экскурсанта из подшефного колхоза... Но на первом же походе понял, что такого рода «экскурсии» были на владыкинском дивизионе вроде тех полетов, когда испытанный боевой летчик «вывозит» молодого. На этих походах Решетников узнал все особенности дневного и ночного входа в бухту, тонкие, лишь командирам катеров известные приметы навигационно-боевого характера — вроде затопленной у Седьмого мыска канонерской лодки, возле которой надо сразу ворочать на курс 84°, чтобы избежать прямой наводки скрытой за мыском немецкой батареи. На катере Калитина, с уважением наблюдая мастерские действия своего командира звена, он понял, что собственный бой его на «СК 0519» был чистейшей удачей и неприличным везеньем. Сомов познакомил его с ночным десантом, а Бабурчёнок— со своим способом разведки огневых точек противника: для этого он полным ходом трижды прокатил Решетникова ночью вдоль берега, переведя моторы с подводного выхлопа на надводный, чем вызвал яростный огонь, вспышки которого оставалось только засекать. Кроме таких поучительных примеров, Решетников на этих походах услышал кучу самых разнообразных советов на все случаи беспокойной жизни сторожевого катера в море.

Все это, возвращаясь к себе, Решетников пересказывал Никите Петровичу: Хазов окончательно сделался самым необходимым для него собеседником.

Чем ближе узнавал его Решетников, тем чаще думал о том, что, конечно, из всех, кого он видел вокруг себя, Никита Петрович больше всего подходит к понятию «друг», несмотря на большую разницу в годах и на то, что подчинен ему по службе, хотя по справедливости должно было быть наоборот. Только настоящий друг мог так бережно и заботливо поддержать его на первых, трудных порах командования кораблем, да вдобавок вперые в жизни. Владыкин был, конечно, прав, говоря, что Хазов делает для него все то, что хороший коммунист должен делать для комсомольца, а боевой моряк для такого (тут Решетников, не щадя себя, поправил владыкинские слова), для такого салажонка, как он... Нет, даже больше: Хазов делал для него то, что мог сделать самый верный, самый преданный и бескорыстный друг.

Но главнейшее во всем этом для Решетникова заключалось в том, что Хазов все больше напоминал ему дорогого его сердцу Петра Ильича Ершова, оказавшегося для него ближе и дороже отца,— человека, который сыграл в его жизни решающую роль и которого так не хватало ему все эти годы самостоятельной жизни.

Глава 9

О той скрытной ночной операции, для которой «СК 0944» приближался к занятому противником берегу, известно было, конечно, довольно значительному числу людей, но знали о ней все они по-разному.

Команда катера видела в этом обычный ночной поход в глубокий тыл врага для высадки разведчиков в той самой бухточке, где две недели назад катер проделал это без особых хлопот.

Боцману Хазову, которому было поручено доставить разведчиков на берег и привести шестерку обратно к катеру, было ясно, что нынче там могут встретиться любые неожиданности и что поэтому надо быть особо осторожным.

Командир группы разведчиков лейтенант Воронин знал, что в горах, в небольшом партизанском отряде, куда пробираться придется, может быть, с боем, находится один товарищ, которого надо доставить в бухту Непонятную или в другое более отдаленное место, если здесь высадка пройдет негладко.

Командиру катера лейтенанту Решетникову было известно, что товарищ этот располагает какими-то очень нужными сведениями, отчего с группой разведчиков идет в операцию сам майор, и что в случае неудачи с высадкой в бухте Непонятной

нужно дать условное радио, по которому будет выслан еще один катер с другой группой в другое место, чтобы попытаться все же получить вовремя эти сведения.

Для комадира дивизиона сторожевых катеров капитана третьего ранга Владыкина операция была связана с готовящимся десантом морской пехоты, так как ожидаемые сведения могли облегчить боевую задачу катерам его дивизиона, который намечался штабом флота для первого броска десанта.

В штабе флота с разработкой этого плана торопились потому, что морской пехоте необходимо было закрепиться на новой «малой земле» к определенному сроку, когда там должен будет высадиться крупный армейский десант с боевой техникой и артиллерией.

Командующему флотом было известно, что высадка этого десанта, имеющего задачей продвижение к Севастополю, связана с подготавливаемым новым ударом, развивающим успех недавней Сталинградской победы, и зависит от обстановки на всем приморском фронте.

Командующий же фронтом знал, что в ходе нового наступления все его действия, в том числе и десант, будут лишь демонстрацией, отвлекающей внимание и силы противника от подлинных намерений Главного Командования.

А об этих действительных намерениях никто даже из самых крупных военачальников, управлявших ходом войны, не мог сейчас с уверенностью сказать, осуществятся ли они именно в тот срок и именно так, как намечает их новый обширный оперативный замысел, который сам был лишь одним из звеньев общего стратегического плана. Это зависело от многих причин: и от того, как осуществятся другие такие же намерения Главного Командования на других участках фронта от Белого моря до Черного; и от того, сумеет ли Советская страна вовремя прислать своей великой армии необходимое для того количество боевых машин и припасов; и от того, до какой степени дружеского предательства, дозволенной традициями военных союзов, дойдут генеральные штабы капиталистических стран, вынужденных сражаться в одном лагере с социалистической державой; и от того, окажется ли в свое время единственно верным именно то направление главного удара, которое подготавливается сейчас и для организации которого среди тысячи других предварительных действий потребовалось послать в бухту Непонятную «СК 0944».

Из всех людей, по-разному знавших о ночном походе катера, одному майору Луникову, кроме командования флотом, было известно что товарищ Д., возвращающийся из крымского подполья, помимо сведений, полезных для десантной

операции, имеет еще и другие важнейшие, интересующие непосредственно Главное Командование. Поручая майору лично доставить на Большую землю товарища Д., за которым из Москвы уже выслан самолет, командующий флотом особо подчеркнул, что это надо сделать как можно скорее. Именно поэтому майор и выбрал бухту Непонятную, хотя из всех предложенных Владыкиным вариантов она казалась наименее надежной и безопасной.

Дело заключалось в том, что, когда сведения попали в руки товарища Д., партизаны, оттесненные в горы, лишились посадочной площадки для «У-2», и ему пришлось просить о присылке за ним катера. Для этого он указал известную ему бухточку, удобную тем, что до нее было пять-шесть часов хода от скрывающегося в горах небольшого партизанского отряда, где он очутился, уйдя из Севастополя. Этой бухтой оказалась та самая, в которой на днях произошел случай с катером «0874» (чего, конечно, он знать не мог) и которую Луников назвал Непонятной.

В беседе с Владыкиным майор выяснил, что из других возможных мест высадки до товарища Д. придется добираться шесть, а то и восемь суток да столько же потратить на обратный переход с ним самим. Тогда он решил рискнуть — и если не всю операцию выполнить в бухте Непонятной, то хотя бы начать ее отсюда. В глубине души он был убежден, что все обойдется сравнительно просто. Ведь и в самом деле было непонятно, что же могло случиться с группой, высаженной здесь неделю назад. По характеру задания она не имела возможности дать знать о себе и приходилось только гадать. Расспросив Владыкина об известных тому вариантах неудачных высадок, майор понял, что все они обязательно отмечались шумом — взрывом, автоматными очередями или хотя бы одиночными выстрелами. Тишина, сопровождавшая прошлую высадку, показывала, что, вернее всего, произошло что-то не с разведчиками, а со шлюпкой, когда она возвращалась с гребцами к катеру. Поэтому много шансов было за то, что нынче группе удастся благополучно подняться в горы. А там можно будет рискнуть на радиосвязь и запросить Решетникова, вернулась ли шлюпка,— и если обратная посадка в бухте Непонятной состояться не сможет, сразу же, не теряя времени на ожидание второй посланной группы, повести товарища Д. навстречу ей к другому, дальнему месту посадки. Это ускорит доставку сведений ровно вдвое, что, конечно, для Главного Командования очень важно.

Но такой неудачный вариант представлялся майору маловероятным, и мысли его все время вертелись вокруг шлюпки

и ее возвращения, так как основной задачей было обеспечить обратную посадку тут же, на следующую ночь. Именно поэтому он и просил Решетникова прислать к нему того, кто назначен старшиной шлюпки.

И, едва дождавшись, пока Хазов допьет «какаву», Луников стал донимать его расспросами. Как там придется высаживаться — прямо в воду? Прыгать по камням? Или можно приткнуться к гальке? Остается ли шлюпка хоть ненадолго без охраны во время высадки? Какие берега внутри бухты: пологие или обрывистые? Не нависают ли скалы над водой? Как шлюпка возвращается: посередине бухты или должна идти возле берега, чтобы найти выход в море? Каким образом она находит катер, стоящий на якоре в миле-полутора? Можно ли каким-нибудь ложным сигналом направить ее мимо катера? Или перехватить на пути?..

Вопросы его были неожиданными, порой наивными и даже, с точки зрения Хазова, просто нелепыми, но за ними он чувствовал такую серьезную озабоченность, что и в его глазах предстоящая высадка стала приобретать какую-то необыкновенную значительность. И хотя Луников не говорил прямо, боцман понял, что весь разговор потому и начался, чтобы, не раскрывая того, чего ему знать не положено, показать всю важность операции и его, Хазова, особую роль в ней. Под конец майор подтвердил это сам.

— Вот ведь какая штука, товарищ Хазов,— сказал он совсем не по-военному,— все дело, видите ли, в том, уцелеет нынче ваша шлюпка или исчезнет вроде той. Черт их знает, что они могли с ней там устроить... Вот вы говорите: скалы, и шлюпка совсем рядом проходит. А разве нельзя гребцам на головы свалить камешек кило на полтораста? Или, скажем, спрыгнуть на них без шума с ножами?

Хазов сдержанно улыбнулся, но майор укоризненно качнул головой:

— Думаете, кино? На войне всякое бывает. Вот на Мекензиевых горах кок у нас наладился на передний край борщ горячий таскать. Ну, видно, проследили, захотели «языка» взять. Идет Мельчук по дубняку, тропка знакомая, своя, вдруг из дубнячка автомат: «Хальт! Русс сдавайсь!» Он было решил — пропал, но глядит — немец-то всего один. Тогда он будто оробел, лопочет: «Битте, капут, яволь» — и руки вверх тянет вместе с борщом. Немец вышел на тропку, только подошел — Мельчук ему все ведро и вывернул на башку, а борщ жирный, горячий, только что с огня, чуть глаза не сварились. Так и привел его к нам — всего в капусте, а на голове ведро. Выходит, что и борщ — оружие...— Луников загасил папиросу и неожиданно

закончил:— Значит, мы с вами договорились: поведете обратно шлюпку — держитесь от скал подальше. На высадке мы за вами присмотрим,— хоть и очень некогда будет, подождем, пока отвалите. Остальное от вас зависит, гадать нам сейчас ни к чему. Только крепко помните: не доберется шлюпка до катера — большие дела задержатся. Очень большие. А пока давайте приспнем, вот товарищ правильно поступает,— кивнул он на лейтенанта Воронина, который, закинув голову, похрапывал, не обращая внимания на бивший в лицо свет.— Где у вас тут выключатель?

Луников потушил верхний плафон и прикорнул в углу дивана, закрыв глаза.

Но отдыхать ему пришлось не очень долго. Низкий мощный гул моторов, наполнявший кают-компанию, внезапно утих, и трясучка, от которой все звенело и подрагивало, так же внезапно прекратилась, отчего показалось, будто настала полнейшая тишина, хотя моторы продолжали урчать довольно внятно. Луников открыл глаза и вопросительно взглянул на Хазова, но тот спал крепким сном сильно уставшего человека. До назначенного времени подхода к Непонятной оставалось еще более полутора часов. Майор подумал, что происходит какая-то неприятность, и, ожидая, что вот-вот загремит звонок боевой тревоги, привстал с диванчика. Но тотчас будто невидимая мягкая рука посадила его обратно, а кают-компания вся наклонилась — катер делал крутой поворот. Звонков, однако, никаких не было, и Луников решил подняться наверх и спросить командира, что означает этот странный маневр катера.

Решетникова он нашел в штурманской рубке, куда провел его вахтенный комендор, пребольно ухватив за локоть,— видимо, на тот случай, чтобы, споткнувшись на темной палубе, майор не свалился за борт. Лейтенант стоял один у высокого прокладочного стола, отмечая что-то на карте.

— Подходим, командир? Не рановато ли? — спросил Луников, дождавшись, когда он закончил запись.

— Все нормально, просто ночь нынче светлая,— ответил Решетников и показал карандашом на мыс, далеко выдвинувшийся в море.— Удалось сразу за него зацепиться, а то, бывает, часа полтора возле него танцуют... Продержимся пока тут, а через час — к бухте, до нее от мыса малым ходом около сорока минут. Станем вот здесь, так шлюпке вход отыскать будет легко...

Он коснулся тупым концом карандаша кружка с якорьком и, показывая путь шлюпки, повел его по карте к береговой черте, а потом влево вдоль нее, следя за ее изгибами, пока она сама не завела карандаш в бухточку.

— Легко-то оно легко, да, как говорится, вход бесплатный, а выход — рупь,— медленно протянул Луников, глядя на карту.— Выглядит она тут у вас красиво, а вот что в ней там на самом деле... Как вы это понимаете, товарищ лейтенант?

— Никак,— резко ответил Решетников, с раздражением кидая карандаш на карту.— А что я могу понимать? Хуже нет — чужие дела расхлебывать! Сомов потерял шлюпку, а мне своими людьми рисковать...

И тон, которым он это сказал, и смысл сказанного, и этот несдержанный жест так отличались от той ровной веселой приветливости, с которой недавно он разговаривал в кают-компании, что Луников удивленно взглянул на него. Конечно, он не мог знать, что за два-три часа лейтенант передумал и перечувствовал многое.

Как ни странно, но в начале похода Решетников вроде бы не воспринимал всерьез того, что происходит. Может быть, главнейшей причиной было то, что из шести катеров, находившихся в базе, Владыкин выбрал для важной операции именно его, решетниковский. Это не могло не польстить самолюбию лейтенанта, и он пришел в отличнейшее настроение, в котором все кажется простым и легко выполнимым. Поэтому поход этот представлялся ему какой-то спокойной, почти веселой прогулкой по спокойному морю, чуть вздыхающему пологой зыбью, а сама операция — ночная высадка, ожидание в море до следующей ночи и новый приход в бухту за разведчиками — пустяковым и занятным делом. Счастливое состояние уверенности в себе и в непременной своей удачливости не оставляло его, и он мог с любопытством подстерегать зеленый луч и шутить за ужином.

Но, оставшись на мостике один и думая о бухте Непонятной, ожидающей где-то в звездной этой тьме, он начал чувствовать нарастающую тревогу. Она беспокоила его все больше, пока он не понял (вполне и во всем зловещем значении, поразившем его), что бухта перестала быть надежным местом для высадок, что ночью предстоит действительно опасная операция и что в эту операцию, тревожащую и томящую скрытой, неизвестной опасностью, он сам — своей волей, своей командирской властью — назначил человека, жизнь которого должен был особенно беречь: недавно найденного друга.

И тогда весь тот мальчишеский задор, все удалое легкомыслие, с какими он выслушивал подробные указания Владыкина и с какими начал поход, мгновенно слетели с него. Теперь Решетников искренно не понимал, как мог он в глупом этом задоре, в какой-то театральной роли решительного, быстро соображающего командира, увлекшей его,— как мог он на во-

прос Владыкина, кого думает назначить на шестерку, ответить: «Боцмана Хазова». Дорого дал бы он сейчас, чтобы вернуть этот бравый ответ!.. Но слова были произнесены — не слова, решение командира корабля, которое не может быть отставлено или изменено без веских и важных причин. А причин этих не было, кроме одной,— боязни за Хазова, в чем признаваться было нельзя.

То, что он ответил Луникову, было неправдой: конечно же, с самого того момента, когда Решетников понял, что сам обрек Хазова на опасность, он не переставал думать о бухте, о высадке, о ловушке или о несчастье, случившемся там. Десятки догадок, и правдоподобных и фантастических, перебрал он в голове, не остановившись ни на одной. В воображении его, ничуть не помогая делу, возникали десятки планов, как обеспечить возвращение шлюпки из бухты. С поздним раскаянием он думал, что все это следовало обсудить с Владыкиным, и тогда, может быть, нашелся бы способ облегчить ночную операцию в бухте. Из всех, кто был на катере, ему мог бы помочь толковым советом один лишь боцман. Но уж, конечно, как раз ему-то и нельзя было показывать даже намека на то тревожное беспокойство, с которым думалось теперь о высадке: Решетникову казалось, что оно может передаться и Хазову, вселить в него неуверенность перед самым уходом в опасную операцию.

Пожалуй, впервые за этот счастливый месяц Решетников почувствовал себя снова таким же растерянным и беспомощным, каким был в первую неделю командования катером, и с горечью подумал, что ему еще очень далеко до того, чтобы назвать себя настоящим командиром корабля. Ведь едва только пришлось ему решать без Никиты Петровича... И тут же он оборвал себя, поняв, что и в самом деле может оказаться без Хазова — не только сейчас, но и всю жизнь — и что виной этому будет он сам.

В этом состоянии его и застал Луников у штурманского стола, когда, оставив за себя на мостике Михеева, лейтенант зашел в рубку, чтобы проверить на карте тот новый способ ориентировки шлюпки при возвращении, который только что пришел ему в голову. Конечно, вопрос майора никак не мог подействовать успокоительно, однако, тут же Решетников сам почувствовал, что допустил резкость, и добавил совсем другим тоном:

— Правильно вы ее назвали, товарищ майор: Непонятная и есть...

— Непонятная, да не очень...— в раздумье сказал майор.— А что, если такой вариант: не на фокус ли они пошли? Группу нарочно пропустили, не тронули, а шлюпку поймали.

— Для чего? — хмуро удивился Решетников.

— Для психики.

— Неясно.

— Очень ясно. Чтобы мы с вами головы ломали и боялись этой бухты. Вот я, например, попался — сам ее Непонятной прозвал. И ваш Владыкин попался: начал мне такие места для высадки предлагать — триста верст скачи, не доскачешь. И вы попались: боитесь своими людьми рисковать. А на деле там ничего нет. Бухта как бухта.

— Все равно неясно. Проще было группу уничтожить, вот вам и «психика»: больше не полезешь.

— Как раз нет: обязательно полезем. Нам ведь понятно, что постоянного гарнизона там нет, разгром группы — случайность; значит, можно высадку повторить. А тут полная неизвестность: ни стрельбы, ни взрыва... А неизвестная опасность в десять раз страшнее. Не знаю, как вы, а я все время думаю: куда шлюпка девалась? Наверное, это штатская профессия во мне работает. Я, видите ли, инженер-плановик, вот меня варианты и одолевают. На всё тридцать два варианта, на выбор. Вот и эта чертова бухта: ведь через час в ней высаживаться и своими боками тридцать третий вариант узнавать, а я все догадки строю...

— И я,— откровенно признался Решетников.

Майор вроде обрадовался.

— Да ну? А я-то вам завидовал: вот, думаю, что значит профессионал военный! В такую непонятность идет — и все ему ясно, не то что мне, штатскому вояке,— и спокоен и весел...

Теперь улыбнулся Решетников.

— Ну а я за ужином вам завидовал —мне бы такое спокойствие и уверенность...

— Значит, договорились! — рассмеялся Луников.— Такая уж у нас с вами командирская должность — все внутри переживать, а наружу не показывать... Я как этот китель надел, так ни минуты себя наедине не чувствую. Все кажется, будто на меня в триста глаз мои моряки глядят: как, мол, там командир отряда, не дрейфит? И ведь хуже всего, что показным бодрячеством их не обманешь. Им все настоящее подавай: и спокойствие, и мужество, и решительность. А где, спрашивается, мне их взять? От меня жизнь до сих пор другого требовала. Вот и приходится на ходу эти командирские качества в себе воспитывать, а у меня и годы не те и навыков нет. Поневоле вам, военным, позавидуешь...

Решетников внутренне поморщился. Ему показалось, будто майор напрашивается на возражения — ну зачем, мол, вы так

про себя, все же знают, что вы настоящий боевой командир!.. Но тот с искренностью, не вызывающей сомнений, продолжал:

— Очень трудная эта профессия — командовать. Рядовому бойцу на всю войну одна смерть положена, а командиру — тысячи: столько, сколько раз он своих людей на смерть посылал. На кораблях много легче — там командир в бою со всеми вместе. Вам не очень и понятно, до чего это трудно — посылать других под снаряды, а самому отсиживаться в блиндаже...

— Чего же тут не понять, понятно,— сочувственно сказал Решетников, думая о Хазове и о шлюпке.

Майор махнул рукой.

— Ничего вам не понятно! Вот будете командовать дивизионом и придется вам какой-нибудь катер в серьезное дело посылать, тогда меня и припомните... Нынче мне повезло — вместе с группой пошел. А сиди я на берегу, такого бы себе навоображал — вконец бы извелся, разве что Сенека помог бы...

— Какой Сенека? — не понял лейтенант.

— Был такой римский философ, воспитатель Нерона. Рекомендовал не представлять себе неприятностей, пока они не случились. В жизни, мол, и реальных пакостей хватает, чтобы еще воображаемыми огорчаться. Совет правильный, но человечество почему-то им мало пользуется, и я в том числе. Только что с вашим боцманом обсуждал варианты ночных хлопот. Впрочем, он, видно, и сам философ: выслушал молча — и заснул. Да так, что и поворот не разбудил...

Упоминание о Хазове заставило Решетникова снова помрачнеть. Но майор, не заметив этого, закончил тем же шутливым тоном, который ему не очень удавался, но которым он, вероятно, хотел скрыть свою озабоченность:

— Не расспросил я его, как он катер найдет? Ночь-то темная, а море-то Черное. Придется вам мне растолковать.

— А я как раз этим и занимаюсь, кое-что новое в голову пришло,— ответил Решетников.

Среди тревожных догадок, которые бесполезно осаждали на мостике его воображение, одна показалась ему дельной: а что, если сомовская шлюпка просто не нашла катера?

При всех своих несомненных преимуществах как места для скрытной высадки бухта Непонятная имела одно значительное неудобство. Гряда подводных камней вынуждала катер становиться здесь на якорь в порядочном расстоянии от берега, и поэтому гребцам, уводившим шлюпку после высадки, приходилось брать с собой шлюпочный компас, выходить из бухты, справляясь с ним, и отыскивать потом катер по условному огню. Обычно для этого в целях маскировки пользовались

синей лампой, свет которой можно было заметить лишь вблизи. Решетникову пришло в голову, что, лишившись компаса (скажем, утопив его при спешной высадке или разбив), гребцы сомовской шестерки пошли к катеру, ориентируясь по звездам. В этом случае шлюпка могла отклониться от верного направления настолько, что заметить слабенький синий огонек было уже невозможно.

Представив себе, что Хазов очутился в таком же положении, лейтенант уже не думал о степени вероятности своей догадки. Ему казалось важным одно: если такая возможность была, следовало ее исключить, хотя для этого ему приходилось решать задачу подобную квадратуре круга: как усилить свет, одновременно замаскировав его?

Катер уже приближался к берегу, а Решетников все еще ничего не мог придумать. Он совсем было отчаялся, когда в дело вмешалась случайность, что, как известно, бывало причиной многих важных открытий. Роль ньютонова яблока тут сыграл ратьер (как с давних пор называют на кораблях сигнальный фонарь, уже позабыв о том, что это фамилия его конструктора): когда лейтенант придвинулся к обвесу мостика, чтобы удобнее было отыскать горы, темнеющие на фоне звездного мерцания, ратьер загремел у него под ногами железным своим ящиком и натолкнул на решение вопроса.

Фонарь этот устроен так, что свет яркой лампы, заключенной в его ящике, бьет сквозь узкую щель, прикрытую вдобавок щитками, что придает ему направленность и препятствует видеть свет с боков. Щель по надобности можно прикрывать красным, зеленым или белым стеклом с помощью нехитрого рычажного устройства. Мысль, осенившая Решетникова, состояла в том, что этот луч можно направить параллельно береговой черте. Тогда ни со стороны моря, ни с берега его не будет видно, зато яркая полоска света будет непременно замечена гребцами шлюпки даже в том случае, если они станут пересекать этот луч и вдали от катера. Маскировка вдобавок удачно обеспечивалась тем, что, если направить луч на норд-ост, он будет светить как раз вдоль рифа, где никак не могло оказаться ни немецкого катера, ни, тем более, корабля.

Этот свой план лейтенант не без гордости и объяснил Луникову, показав на карте, где станет катер, куда будет направлен луч и как должна грести шестерка. Тот некоторое время молча рассматривал схему, потом сказал:

— Имеется вариант: шлюпка почему-либо оказалась с другого вашего борта — с запада. Вот и пропал ваш план.

— Вариант исключенный,— в тон ему ответил Решетников.— Для этого ей надо ошибиться не меньше чем на двадцать

градусов. А курс я даю ей, как видите, простой: чистый зюйд. Даже если без компаса останутся, держи по корме Большую Медведицу, тут спутаться трудно... Имеются другие варианты?

— Пока нет. А предложение есть. Раз у вас там цветные стекла, не лучше ли дать зеленый огонь? Рифы рифами, а от греха подальше. Красный сам в глаза кидается, белый — очень ярок, а зеленый — вроде и звезда какая... Все-таки маскировка...

— Согласен, пусть будет зеленый,— ответил Решетников и, явно повеселев, взглянул на часы.— А что, товарищ майор, может, пораньше подойдем?

Луников искоса взглянул на него и усмехнулся.

— Пожалуй, правильно... Зачем нам лишние полчаса томиться? Уж рвать зуб, так сразу...

Решетников несколько смутился, поняв, что майор разгадал его нетерпение. Как бывает это в подобных случаях, ему уже невмоготу было дожидаться того, что все равно должно случиться, и хотелось, чтобы это поскорее началось. Он дунул в свисток переговорной трубы на мостик и приказал Михееву ворочать на обратный курс и при подходе к мысу пробить боевую тревогу, а сейчас прислать в рубку Хазова и Артюшина.

Майор хотел было уйти, но дверь отворилась, выключив свет. Когда он зажегся, в рубке стояли и тот и другой.

— Ясно,— недовольно сказал Решетников.— Было приказано спать, а они уже на палубе.

— При повороте с койки скинуло, товарищ лейтенант,— сразу же ответил Артюшин.— Я и вышел Зыкину сказать, что со штурвалом аккуратно надо обращаться. Не выйдет из него рулевого, как хотите, его бы в авиацию списать, пусть там виражи закладывает...

— Товарищи старшины, получите новый приказ на возвращение,— перебил его лейтенант, и Артюшин тотчас подтянулся.— Подойдите к карте...

Он подробно, с излишней даже обстоятельностью, объяснил им свой план, подчеркнув, что уклоняться вправо ни в коем случае нельзя, чтобы не проскочить катер с его темного борта, и закончил обычным:

— Все ясно? Вопросы имеются?

Он сказал это четко, по-командирски, и Артюшин так же четко ответил, что все понятно. Но Хазов неторопливо сказал:

— Есть, товарищ лейтенант.

— А что, Никита Петрович? — совсем другим тоном спросил Решетников, и Артюшин, спрятав невольную улыбку, заметил, что он с беспокойством покосился на левую руку боцмана.

Тот и в самом деле поднял ее к подбородку привычным жестом и в раздумье потер ладонью бритую щеку.

— Маловато запасу. Тут грести порядочно, шлюпка курса точно не удержит. Можем и правее катера пройти.

— Вот товарищ майор того же опасается,— сказал Решетников озабоченно.— Я и сам хотел для верности поставить катер западнее, да боюсь — увидите ли вы тогда огонь? Далековато на луч выйдете.

— Увидим,— с уверенностью сказал Хазов.

И Артюшин подтвердил:

— Ратьер увидим. Его из Поти увидишь, это не синий ночничок, прошлый раз все глаза проглядели...

— Ясно,— подытожил лейтенант и нарисовал на карте новый кружок с якорьком.— Вот так у вас запасу будет за глаза — градусов тридцать... Все, товарищи старшины. Помните — на вас вся операция держится. Потеряем нынче шлюпку — весь смысл потеряется: разведчиков надо обязательно завтра на борт принять. Ну... желаю успеха.

Он пожал руки обоим. Хазов достал из реглана аккуратный клеенчатый бумажник и молча передал его командиру катера. То же сделал и Артюшин, но у него документы оказались в кокетливом кисетике, сшитом, очевидно, женскими руками. Потом оба вышли из рубки, а за ними — и Решетников с майором.

На палубе чувствовалось присутствие в темноте многих людей. Сквозь мягкий рокот одного мотора, под которым шел сейчас катер, слышны были негромкие голоса, какие-то тени уступали дорогу офицерам, направившимся на корму к шестерке. Очевидно, второй поворот дал знать команде и разведчикам, что время высадки приближается, и боевой тревоги уже не требовалось: все оказались на своих местах, шлюпку готовили к спуску, и разведчики подтаскивали к ней громоздкий инвентарь пехотного боя и окопной жизни, который им придется скоро разместить на своих плечах.

Тот незаметный, но ясно ощутимый всеми переход из одного жизненного состояния в другое, который начинает собой всякую боевую операцию задолго до ее фактического начала, уже произошел. И хотя люди держались по-прежнему, спокойно разговаривали, шутили, выполняли порученное им дело, во всем этом теперь была особая значительность, которую все чувствовали, но которой не подчеркивали и даже как бы не замечали, словно уговорились между собой делать вид, что решительно ничего не происходит. Между тем часть этих людей уже переступила ту грань, за которой могла встретиться военная смерть, тогда как другая часть оставалась еще по эту сто-

рону грани, где такая смерть была маловероятной. И как ни старались те и другие держаться естественно, быть такими, какими были пять минут назад, это у них не очень получалось, и усилие над собой выражалось у кого повышенной веселостью, у кого нарочитым спокойствием, у кого смущенностью и неловкостью. И всем, как недавно Решетникову, уже хотелось, чтобы действия, связанные с возможностью гибели, начались поскорее, если уж все равно они должны начаться.

Катер снова повернул, на этот раз на малом ходу, плавно. Звезды, качнувшись, расположились над ним так, что Большая Медведица оказалась по правому борту, и все на палубе поняли, что теперь катер идет вдоль берега к бухте. Однако никто не сказал об этом вслух: разведчики негромко обсуждали с лейтенантом Ворониным — взять лишнюю «цинку» с патронами или добавить гранат, Жадан приставал к боцману, чтобы подкормили разведчиков — есть, мол, лишний суп, и только Сизов, оказавшийся каким-то образом рядом с Артюшиным, спросил его упавшим голосом:

— Подходим, что ли?

— Ты откуда тут взялся? — удивился тот.

— Радиограмму на мостик носил. Так, верно, подходим?

— Когда еще подойдем... «Последний час» успеешь выдать.

— «Последний час» еще через час.

— Тогда не успеешь. Сыпься на место.

Сизов помолчал, потом тронул его за локоть:

— Артюш... Ты, значит, это самое...

— Ну чего тебе?

— Нет, ничего. Ну, счастливо, мне слушать надо.

— Счастливо. Иди слушай.

Артюшин постоял в темноте, потом, словно пожалев, что отпустил Сизова, негромко крикнул вслед:

— Юрка!

— Есть! — ответил голос рядом.

— Ты еще тут? — опять удивился Артюшин.

— Тут.

— Иди на место, я сказал.

— Я и шел, а ты зовешь.

— Ну, счастливо! Эх ты... герой...

— Командира отделения рулевых Артюшина на мостик! — донеслась до кормы голосовая передача.

— Есть на мостик! — отозвался Артюшин и, охватив Сизова за плечи, ласково потряс его худощавое, еще мальчишеское тело.— Вот теперь и в сам-деле подходим, раз самого маэстро приглашают... Будь здоров, Юра!

Артюшин угадал: командир катера приказал ему стать на руль, как это бывало всегда при сложном маневре. После поворота катер начал слегка рыскать на зыби, а ему следовало идти точно по курсу, чтобы попасть в намеченную его командиром точку несколько западнее бухты Непонятной.

Все на мостике было сейчас подчинено этой задаче. Лейтенант Михеев следил за равномерностью хода, то и дело справляясь о числе оборотов мотора. Птахов, доверяясь своим глазам больше, чем биноклю, всматривался в темную гряду берега, чуть различимого на фоне звездного неба, надеясь опять, как и в прошлый раз, приметить зубец вершинки, находящейся неподалеку от бухты. Сам Решетников, положившись на его снайперское зрение, наклонился над компасом: несмотря на все искусство «маэстро», картушка медленно ходила около курсовой черты, и лейтенант внимательно следил, не уводит ли это рысканье в какую-либо одну сторону. Избежать его можно было, лишь прибавив оборотов, чего сделать было нельзя: подходить к месту высадки полагалось тихо, и катер, чуть поводя носом вправо и влево, словно принюхивался к чьему-то следу, продолжал медленно красться вдоль берега.

В таком напряжении прошло более получаса. Наконец Птахов негромко, но с нескрываемым торжеством доложил:

— Вершина, справа восемьдесят.

Решетников посмотрел в бинокль туда, куда показывал Птахов, и, хотя, кроме темной полосы, закрывавшей на горизонте звезды, ничего не увидел, облегченно вздохнул: вершина означала, что до якорного места оставалось идти только шесть минут. Хитря с самим собой, лейтенант добавил к ним две-три для верности, чтобы шестерка не проскочила катер с запада. Тогда он поставил рукоятку машинного телеграфа на «стоп», негромко скомандовал: «Отдать якорь!» — и пошел на корму, где вокруг шлюпки сгрудилась уже почти вся команда, готовясь с помощью разведчиков спустить ее на воду.

Это было проделано неожиданно быстро. Командирская рационализация с поясами вполне оправдалась — корма, поддерживаемая пробкой, даже не черпнула, и когда Хазов отдал хитро завязанный им конец и пояса вытащили на катер, разведчики один за другим спрыгнули в шестерку и начали разбирать весла, не тратя времени на отливание воды.

Майор подошел к Решетникову и, не отыскав в темноте его руки, дружески пожал ему локоть:

— Ну, товарищ лейтенант, спасибо за доставку. Значит, до завтра... Сенеку почаще вспоминайте,— добавил он, улыбаясь, что было понятно по голосу, потом шагнул к борту.— Орлы! Хватайте ногу, поставьте ее там куда-нибудь не в воду...

Он не очень ловко слез в шестерку, и из темноты донесся спокойный голос Хазова:

— Разрешите отваливать, товарищ лейтенант?

— Отваливайте,— так же спокойно ответил Решетников.

Все, что передумал и перечувствовал он на мостике перед поворотом у мыса, вновь взмыло в нем из самых глубин души, куда он постарался это запрятать. Если бы он мог, он задержал бы шестерку, заменил бы Хазова кем угодно или пошел бы сам. Но ничего этого сделать было нельзя, как нельзя было хотя бы затянуть уход шлюпки бесполезными расспросами, все ли нужное взято, помнят ли Хазов и Артюшин, как в случае чего держать по Большой Медведице. Можно было сказать лишь одно это командирское слово «отваливайте» — роковое слово, решающее судьбу людей и судьбу друга.

Это он и сказал спокойным, обыденным тоном.

Несколько сильных рук оттолкнули шестерку от борта. Темный силуэт ее на секунду закрыл собою звездный отблеск, мерцающий на выпуклой маслянистой волне зыби, и сразу же растворился в остальной черноте, окружающей катер.

Какое-то очень недолгое время оттуда доносились тихие равномерные всплески весел. Наконец и этот слабый звук погас, как гаснет тлеющая искра,— незаметно, но невосстановимо. И тогда над катером встала та удивительная тишина уснувшего моря, которая не может нарушиться ни шелестом листвы, как то бывает в лесу, ни шорохом сорвавшегося камешка, как в горах, ни встрепетом птицы в траве, как в степи. Беззвучность черноморской ночи была настолько совершенной, что слабое движение воздуха, едва ощущаемое кожей лица (и то лишь потому, что оно несло с собой холод), улавливалось слухом, как звук чьего-то близкого легкого дыхания. И казалось совершенно невероятным, что в этой безмятежной, спокойной тишине могут сухо затрещать выстрелы, застучать автоматная очередь или плотно ухнуть взрыв.

Но именно это и опасался услышать Решетников, присевший на освобожденные от шестерки стеллажи, и того же опасались те люди, которых он оставил на верхней палубе, запретив двигаться, кашлять и шептаться, чтобы не заглушать хоть малейшего звука, который мог донестись с берега или с воды. То и дело лейтенант отворачивал рукав шинели и смотрел на светящиеся стрелки. И чем ближе время подходило к тому, когда, по его расчету, шестерка должна была начать высадку в бухте, тем тревожнее вслушивался он в морскую тишину.

Наконец, не в силах сидеть неподвижно, он встал, словно так было лучше слушать. По времени получалось, что там, в бухте, шестерка уже подошла к берегу. Ночь по-прежнему

была беззвучна. Он опять взглянул на часы: наверное, теперь все уже выскочили на гальку. Никита Петрович прошлый раз говорил, что в бухте есть такой ровный пляжик, очень удобный для высадки. Ну, еще три минуты — сталкивают шлюпку. Все тихо. Сердце стало биться ровнее. Он простоял неподвижно еще пять минут, слыша только легкие вздохи ветерка. Ветерок был холодным, резкая свежесть забиралась за воротник кителя и почему-то главным образом ощущалась у затылка. Теперь шестерка, видимо, подходила к выходу из бухты. Сердце его опять тревожно заколотилось: а вдруг он так затянул время, что она уже вышла и сейчас ищет свет ратьера? Лейтенант снова взглянул на часы: нет, до этого еще далеко, не меньше двадцати минут, но для верности — пора.

— На мостике! Включить зеленый луч! — негромко скомандовал он и удивился: вот ведь неожиданно вышло! И как ему раньше не приходило это в голову, и верно, зеленый луч...

Он усмехнулся про себя и докончил команду:

— Влево не показывать, держать на норд-ост!

— Есть включить зеленый луч, влево не показывать! — весело откликнулся голос Птахова.

Катер стоял носом к востоку и потому с кормы огня нельзя было увидеть. Но матросы, услышав команду, облегченно зашевелились. К лейтенанту подошел Чайка, потом сразу двое, потом кто-то споткнулся в темноте, и голос Сизова спросил:

— Возвращаются, товарищ лейтенант?

— Будем думать,— осторожно ответил Решетников.

— Товарищ лейтенант,— сказал Сизов уже совсем рядом,— старшина второй статьи меня сменил и приказал спать. А разве сейчас уснешь? Разрешите на палубе подождать, пока Артюшин вернется?

— Ну что ж, подожди. Сядь тут, тебе долго стоять нельзя. Ноги-то как?

— Совсем приросли, товарищ лейтенант, порядок!

— Ну ладно. Сиди и слушай!

Но сам Решетников не мог оставаться на месте. Теперь, когда напряженность положения несколько разрядилась, им все больше овладевало нетерпение. Ведь тишина еще ничего не доказывала: сомовская шлюпка исчезла в такой же мирной тишине. Оставалось ждать, а ждать в этих условиях было очень трудно. Еще труднее было выкинуть из головы беспокойные мысли о том, увидит ли шестерка зеленый луч. Это походило на то, чтобы заставить себя не вспоминать о белом медведе. Все самое далекое, самое постороннее, что ему удавалось вытащить из памяти, чтобы отвлечься от этих тревожных мыслей, тут же, подобно свитой в тугую спираль пружине, которую со-

гнуть невозможно, немедленно выворачивалось и неизменно приводило к тому, что он отгибал рукав шинели и убеждался, что прошло всего две или три минуты.

Решетников поднялся на мостик, заглянул в узкую щель ратьера, откуда весело и ярко бил зеленый свет, проверил по компасу, верно ли Птахов его направляет, поговорил с самим Птаховым и только потом рискнул взглянуть на часы. Оказалось, все это заняло четыре минуты. Время тянулось невозможно медленно.

Лейтенант вздохнул и решил зайти в рубку, где оставил сданные Артюшиным и боцманом документы. Они лежали на слабо освещенной карте, на которой карандашной чертой был отмечен условный луч ратьера, проходивший почти параллельно берегу. Глядя на него, Решетников вспомнил, как он рассказывал Никите Петровичу о зеленом луче и как убеждал не пропускать ни одного заката на море, чтобы все-таки поймать его. Кажется, это было в тот самый примечательный день, когда они с боцманом впервые заговорили по душам. Да, правильно. Они пошли вместе в штаб договариваться о дне первого выхода на пробу механизмов после ремонта. С утра резко похолодало, и над горами, обступившими бухту, нависли плотные белые облака. Их становилось все больше, они как бы давили друг на друга и к обеду сели на вершины гор, совершенно скрыв их от глаз. Бухта и море приобрели неприятный мертвенный оттенок залежалого свинца. Норд-ост переваливал облака через горы к морю. Текучие плотные туманы безостановочно скатывались по склонам к городку. Словно какая-то густая холодная жидкость, они наливали доверху всякую впадину, лощину, седловину, выпуская к домикам и к садам шевелящиеся щупальца. Потом белая масса выплескивалась из впадин и, клубясь, катилась вниз, готовая поглотить городок. Но едва она достигала какой-то черты, ветер, вырывавшийся из бухты, вздымал ее вверх и там яростно и быстро разрывал в клочья.

Глядя на это, Никита Петрович сказал тогда запомнившиеся Решетникову слова: «Ну и силища, вроде фашистской. А глядите — тает». Действительно, хотя белые массы, завалившие собой горы, были неисчислимы и хотя за плотной их стеной угадывались новые, еще бо́льшие массы облаков, гонимых на город невесть откуда, было несомненно, что, сколько бы их ни оказалось, сильный и верный ветер с моря разорвет их в клочья и рассеет в небе грязными слоистыми облачками.

А Решетников, смотря на эту белую тучу, вспомнил о другой — черной, висевшей над алтайской степью. Тут он впервые рассказал Хазову о своем детстве и о том, как решил стать командиром Военно-Морского Флота. И ему показалось, что

Хазов как-то по-новому, с уважением, на него посмотрел и, вероятно, изменил свое мнение о нем, потому что с этого дня он чувствовал совсем иное отношение к себе. Именно тогда Решетников и понял, что Хазов может быть для него тем же старшим другом, каким так недолго был для него когда-то Петр Ильич.

Перебирая это в памяти, Решетников машинально открыл партийный билет и с удивлением заметил, что на фотографии Хазов выглядел не только моложе, что было понятно, а просто совсем другим человеком. Карточка была маленькая, но очень четкая: можно было различить даже выражение глаз. Они были спокойными, веселыми, а на лице совсем не замечалось сосредоточенной задумчивости и хмурой замкнутости, какие Решетников привык видеть на нем с первой же встречи,— видимо, все это сделала война. В партийный билет была вложена еще небольшая любительская фотография. На ней был снят подросток, и сперва показалось, что это сам Никита Петрович, настолько все в лице мальчика напоминало его, но не теперешнего, а такого, каким он снимался несколько лет назад для партбилета. Однако на обороте оказалась надпись неровными буквами: «Косте Чигирю — Петр Хазов», а ниже этого — якорь, на лапах которого стояли цифры — 1940, а под ними — слово «союз» с восклицательным знаком.

Этому романтическому Петру было на взгляд лет десять-одиннадцать. Предположить, что это сын Хазова, о существовании которого никто на катере не знал, было трудно: получалось, что он родился, когда Никите Петровичу было восемнадцать-девятнадцать лет. Видимо, это был его младший брат, о котором он тоже никогда не упоминал. Решетников еще раз посмотрел на открытое, смелое и удивительно привлекательное лицо, которое невольно запоминалось, вложил фотографию в партбилет.

Но и на это все ушло едва три минуты. Лейтенант вышел из рубки, постоял возле нее, давая глазам привыкнуть к темноте, потом опять пошел на корму и сел с Сизовым.

Тот немедленно же спросил:

— Долго ждать еще, товарищ лейтенант?

Решетников взглянул на часы:

— Недолго. Минут через десять должны подгрести.

— Скорей бы,— вздохнул Сизов совсем по-детски, и Решетников улыбнулся. Видимо, Артюшин был для Юры тем же, чем в свое время был для него, Алеши, Ершов.

Но прошло и десять минут и двадцать, а шестерка не возвращалась.

На палубе снова появились люди, и снова они замерли в неподвижности. Опять настала полнейшая тишина — все слу-

шали, не возникнет ли в ней слабый, чуть слышный звук равномерного всплеска весел.

Сроки, которые лейтенант ставил для своего успокоения, проходили один за другим. Пошел уже второй час с того времени, когда шестерка должна была подойти к катеру. Страшное волнение охватило Решетникова. Хорошо, что было темно: все в нем трепетало, дрожало, ходило ходуном, и это, несомненно, могли бы заметить. Догадки и подозрения снова, как и в походе, осаждали его. Самой грозной из них была мысль, что шестерка прошла к западу от катера — там, где не было зеленого луча. Этого не могло быть, он отлично знал, что не могло быть, так как для этого шлюпка должна была бы держать Медведицу не по корме, а почти по правому борту. И зная это, он все же поймал себя на том, что собирается крикнуть на мостик: «Включить второй ратьер на зюйд-вест!» Но это могло бы погубить катер: такой огонь наверняка был бы замечен. Решетников не мог этого сделать, как вообще не мог ничего сделать. Все его действие заключалось в бездействии. Чтобы помочь Хазову в беде, он готов был кинуться под снаряды, под пули, в воду, но должен был только ждать.

За все это время ни один человек из его команды не задал ему пустого и бесполезного вопроса: где же шестерка? Все молчали, но Решетников знал, что вопрос этот у всех на языке. Молчал и он сам.

Теперь его грызла нестерпимая по силе упрека мысль, ужасное для него сознание, что он сам, своим приказом, лишил себя только что приобретенного друга.

Он горько усмехнулся, вспомнив майора с его Сенекой: посмотреть бы, как Луников справился бы с той стаей грозных видений, которая вилась вот тут, в этой морской тишине, поглотившей без звука шестерку!..

Воспоминание о Луникове заставило его взять себя в руки. «Такая уж наша командирская должность...» Он командир, и он обязан что-то объяснить своей команде.

Усилием воли он подтянулся.

— Что-нибудь произошло,— сказал он матросам, стоявшим рядом, сам удивляясь своему спокойному тону.— Ну что же. Время у нас есть, рассвет еще не скоро. Будем ждать до рассвета.

И он опять сел на стеллажи глубинных бомб, зябко передернув плечами — то ли ночь, перевалив за свою половину, стала много холоднее, то ли это был нервный озноб. Он застегнул воротник шинели и замер в неподвижной позе.

Ему уже столько раз мерещился дальний, чуть слышный всплеск весел, что он решил не напрягать более слуха: если что будет — скажут другие. Теперь он вспоминал то, что ска-

зал ему вчера Владыкин, давая боевое задание: «Пора, пожалуй, о том приказе подумать. Лучше будет, если вы сами поднимете вопрос. Пишите рапорт после первого же боя». А когда он спросил: «Может быть, после этого похода?» — Владыкин усмехнулся и сказал, что присваивать офицерское звание за такие прогулки по морю — не получается... Все думали, что это будет прогулкой. И сам он тогда, на берегу, думал так же.

Все это проносилось у него в мозгу как бы по верхней части экрана,— остальная была занята неподвижной, безответной мыслью: где же шестерка? И так же неподвижно, как неподвижна была эта мысль, взгляд Решетникова упирался в темноту по носу катера, где мог показаться темный силуэт шестерки, заслоняющий собой отраженное водой звездное мерцание. Но это желанное пятно на воде все не появлялось, и было ужасно допустить мысль, что никогда и не появится.

Время тянулось так медленно, что казалось, оно вообще остановилось. Но, видимо, оно все же шло: звездное небо уже значительно повернулось, изменив свой яркий пунктирный узор. Решетникову даже почудилось, что он бледнеет. Неужели уже рассвет и с ним — конец ожиданию, в котором была хотя бы надежда? Нет, созвездия были по-прежнему ярки, а небо на востоке и не начинало сереть. Темнота эта успокаивала: значит, время еще есть, можно еще ждать и надеяться. Он смотрел в эту темноту, желая только одного — чтобы она не светлела.

Внезапно в ней беззвучно вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Вспыхнул и исчез. Не успел Решетников подумать, показалось это ему или было на самом деле, как в небе треснуло и раскатилось.

Взрыв словно сорвал лейтенанта со стеллажей. Он вскочил на ноги, собираясь кинуться сам не зная куда, но рядом с ним очутился Сизов.

— Товарищ лейтенант, что же это? Наши?..— выкрикнул он.

Матросы, стоявшие на корме, молчали, но чувствовалось, что и они спрашивали то же.

— Ничего сказать еще нельзя,— заговорил Решетников каким-то чужим голосом.— Может быть, просто совпадение, а может быть... Подождем. Я сказал: будем здесь до рассвета.

Сизов вдруг зарыдал. Лейтенант охватил его дергающиеся узкие плечи.

— Ну, Юра, Юра... Ты же матрос... И ничего еще пока не известно... Держись, Юра!

Но успокоить того было невозможно.

— Ну-ка, кто-нибудь, возьмите его в кубрик,— сказал Решетников опять тем же чужим голосом и добавил громко: — На мостике! Держать луч точно на норд-ост, берегу не показывать!

— Есть берегу не показывать! — ответил Птахов, и лейтенант снова сел на стеллажи.

Если бы мог он дать себе сейчас волю!.. Зарыдать так, как рыдал Юра, как сам он плакал семь лет тому назад...

Но он мог только сидеть молча или говорить вот этим чужим голосом, твердым голосом командира корабля. И как командир корабля он не мог спрятаться со своим несчастьем в рубке или в каюте. Он должен быть здесь, на верхней палубе, среди своего экипажа. Должен смотреть на это бессмысленное сияние звезд и слушать спокойную тишину уснувшего моря, в которой такие взрывы кажутся невероятными. И должен делать вид, что ничего не известно, что можно еще чего-то ждать, когда сам прекрасно понимал, что взрыв был почти у выхода из бухты, если не в нем самом.

Но думать он мог.

А о чем думать? Как тогда — как же теперь жить?

Нет, теперь это вовсе не вопрос. Второго друга отняла у него война. Надо жить, чтобы ей не давать убивать. Надо жить, чтобы покончить с нею,— вернее, с теми, кто выпускает ее на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит, взрывает. Надо жить, чтобы отомстить за обоих.

Впрочем, это горе. Свое горе. А чужого горя полны целые города, области, даже республики.

И дело не в мести, а в том, чтобы предупреждать убийства. В том, чтобы удавить эту войну и не дать выскочить на волю новой. Другого дела в жизни нет.

Вот и опять ты повзрослел. Тогда кончилось детство, теперь — молодость.

Что ж, будем ждать до рассвета. А с рассветом ты снимешься с якоря и уйдешь, так и не узнав, что случилось со вторым твоим другом. Ты офицер, и у тебя кроме этих двоих, еще целый корабль со своей командой.

В спокойной, беззвучной и звездной черноморской ночи стоял у Южного берега Крыма маленький военный корабль, и на корме его, опустив голову и глядя в маслянисто-черную воду, как в открытую могилу, сидел молодой человек в шинели с офицерскими погонами. А с мостика крохотного корабля, не то забытый, не то упрямо оставленный, бесполезным сигналом светил вдоль рифов побережья тонкий и яркий зеленый луч.

Глава 10

Отойдя от катера, шестерка повернула почти на север и ходко пошла к берегу под сильными, протяжными гребками шестерых разведчиков. Двое остальных и лейтенант Воронин сидели с автоматами на носу шлюпки, а в корме разместились майор Луников, Хазов, Артюшин и шлюпочный компас.

Этот маленький прибор был нынче на шестерке в особом почете. На кормовом сиденье ему отвели отдельное место; ради него все оружие было отправлено на бак, чтобы вредным своим соседством не мешать его важной работе. И ему одному разрешалось пользоваться светом: картушка его была освещена синим лучом карманного фонарика, хитро вставленного в нактоуз, в футляр компаса. Здесь было свое штатное освещение потайной масляной лампочкой, но слабый свет ее не устраивал Артюшина, и он приспособил фонарик, чтобы точнее держать на курсе.

Вход в бухту Непонятную осложнялся тем, что перед нею, как бы отгораживая ее от моря, параллельно берегу тянулась высокая подводная гряда, доходящая почти до поверхности воды и небезопасная даже для шлюпок. Ее приходилось обходить, оставляя слева, а потом идти между нею и берегом до входа в бухту. Так и шла сейчас шестерка, держа курс по компасу.

Все в шлюпке молчали. В тишине повторялись ритмичные однообразные звуки гребли: всплеск лопастей, поскрипывание деревянного набора шлюпки, содрогающегося в конце каждого гребка, когда весла, вылетая из воды, делают последний рывок. Хазов, сидевший рядом с Артюшиным, всматривался вперед. Наконец он молча положил руку на румпель, и Артюшин так же молча снял с него свою и потушил фонарик в нактоузе: шлюпка приближалась к берегу, начиналось лоцманское плаванье, для которого не нужно ни компаса, ни искусства классного рулевого и где «лоцманом может быть даже боцман» — как еще на катере сообщил это Артюшин майору.

Подведя ее почти вплотную к скалам, закрывавшим собою звездное сияние неба, боцман повернул влево и повел шлюпку вдоль них. Потом скалы стали отходить, и шестерка, словно они притягивали ее к себе, тоже стала склоняться вправо, сперва понемногу, потом все круче, покамест Большая Медведица не оказалась снова у нее прямо по носу.

Это и был вход в бухту. Хазов вполголоса скомандовал:

— Суши весла...

Разведчики перестали грести. Шестерка продолжала бесшумно двигаться вперед с поднятыми над водой веслами. Во-

ронин и оба матроса на баке привстали с автоматами в руках. Артюшин шепнул загребному: «Оружие сюда»,— и гребцы передали с бака два автомата и несколько гранат.

Дав шестерке дойти до середины бухты, о чем он догадался по каким-то своим признакам, Хазов положил лево руля и так же негромко скомандовал:

— Левая табань, правая на воду...— И, выждав, когда шлюпка развернулась носом к выходу из бухты, добавил: — Табань обе... Помалу.

Теперь шлюпка медленно пошла к берегу кормой, готовая в случае опасности быстро отойти от него. Боцман без стука снял с петель руль и положил его в шлюпку, потом взял в обе руки по гранате и повернулся к берегу. Артюшин и майор уже пристроились с автоматами к заспинной доске кормового сиденья.

В бухте было совсем тихо, только плескалась вода у камней: зыбь образовала здесь легкий накат. Резкая прохлада ночи чувствовалась меньше, может быть, потому, что воздух тут был почти неподвижен. Вода, лишенная отблеска звезд, закрытых нависающими над ней скалами, казалась черной. Подгоняемая бесшумными гребками, шлюпка осторожно приближалась к берегу. Вглядываясь в проступавшие в темноте камни, боцман молча, не оборачиваясь, трогал гранатой колени то правого, то левого загребного. По этому знаку то один, то другой борт переставал грести, отчего шестерка изменяла направление, отыскивая известный боцману каменистый пляжик.

Наконец корма ее приткнулась к гальке. Шестерка остановилась, чуть пошевеливаясь на ленивой волне, набегающей на отлогий берег. Майор собрался шагнуть в воду, но Хазов удержал его. С полминуты он стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, потом обернулся и шепнул:

— Шабаш... Легче с веслами, не стучать!

Он перекинул ноги через фальшборт, осторожно ступил в холодную воду и рывком потянул на себя шлюпку. Корма вылезла на гальку.

— Теперь сходите,— шепнул он Луникову.

Сама высадка заняла не более двух-трех минут. Выскочив на берег, первые двое разведчиков тотчас исчезли в темноте, разойдясь по берегу, чтобы выяснить обстановку. Остальные без звука разобрали оружие и весь свой пехотный груз. Майор потянул к себе Хазова за рукав ватной куртки.

— Спасибо, боцман, кажется, сошло... Желаю счастливо добраться. И помните — завтра нам обязательно на катере надо быть. Ждать будем тут же.

— Помню,— коротко ответил Хазов.— Счастливо вам, товарищ майор.

— Осторожнее из бухты выходите. Хотя,— тут в голосе Луникова послышалась усмешка,— хотя насчет ножей-то я и впрямь кино сочинил... Тут такая тьма, что шлюпки на воде и не различишь... Ну, будем думать, и дальше все хорошо сойдет. Отваливайте, не теряйте времени.

Хазов легко вскочил в шестерку. Артюшин, не выходивший из нее, теперь пристроил компас на первой с кормы банке, опять приладив к нему свой фонарик. Это было его собственное изобретение, которое прошлый раз вполне оправдалось: сидя с веслом на второй банке, он мог следить за курсом, не прекращая гребли, чего при тусклом штатном освещении делать было невозможно.

Разведчики подошли к корме, чтобы столкнуть шлюпку в воду, но Артюшин зашипел на них:

— Не май месяц — купаться, сами сойдем! Ну, отважная морская пехота, замцарица полей, желаю!..

Уперев весла вальками в грунт, они вдвоем легко сдвинули облегченную шлюпку. Она быстро отошла от берега, и фигуры людей сразу исчезли в темноте. Артюшин сел на банку и вложил весло в уключину.

— Значит, уговор прежний: в бухте ты лоцман, а в море — я штурман. На воду!

И они сделали первый дружный гребок.

Идти на шестерке без руля под двумя веслами — дело не очень простое. Гребцы должны работать очень слаженно, хорошо чувствуя друг друга, чтобы не перегребать соседа и не уводить этим шлюпку с намеченного курса. У неопытных порой получается так, что в стараниях сравнять силу гребков оба быстро выдыхаются или, наоборот, уступая друг другу, теряют ход шлюпки, не могут держать заданного направления, и дело кончается тем, что оба бросают весла и со злыми глазами переходят к взаимным упрекам.

Хазов и Артюшин, моряки умелые и бывалые, даже и не думали обо всем этом. Едва они начали грести, мышцы их сами нашли некоторый общий, наиболее выгодный для обоих уровень усилий, отчего ритм гребли сам собою установился и шестерка пошла ровно, без толчков и рыскания, но, конечно, уже не так быстро, как входила она в бухту под всеми шестью веслами. Согласно уговору, вел ее сейчас боцман. Это означало, что Артюшин должен был грести ровно, с одинаковой силой, а Хазов по мере надобности либо ослаблял свои гребки, либо усиливал их для того, чтобы сохранить направление хода шлюпки или, наоборот, изменить его.

Сидя по левому борту на третьей с кормы банке, он греб, повернув голову направо, вглядываясь в скалы, хорошо различимые в звездном свете. Шлюпку нужно было вести вплотную к ним, чтобы сперва найти выход из бухты, а потом то приметное место берега, где обрывистые их стены сменялись отлогим галечным пляжем. Тут, уже не опасаясь камней подводной гряды, можно было поворачивать в море, и здесь лоцманские обязанности Хазова заканчивались: шлюпка ложилась на курс чистый зюйд, и вести ее по компасу до встречи с лучом ратьера должен был «штурман» Артюшин.

Они гребли молча. Скалы неясными громадами медленно проходили по левому борту. Приподнимаясь на зыби, шестерка то чуть ускоряла, то чуть замедляла ход. Потом Хазов перестал грести, и шлюпка под ударами одного весла начала забирать влево, выходя из бухты. Вдруг, коротко ругнувшись, Артюшин рывком поднял весло на сгибе локтя, задрал его лопасть.

Хазов обернулся:

— Чего ты?

— Чего... Мина... И здоровущая, тварь!

Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала черная круглая масса. Артюшин увидел ее, вернее почувствовал, когда, повернув голову к левому плечу, заносил весло. Движение, которым он вырвал его из уключины, получилось у него помимо воли. От легкого удара веслом мина вряд ли сработала бы, вот если бы шестерка с ходу наткнулась на мину форштевнем...

При этой мысли Артюшин покрутил головой и, сделав гребок, не очень естественно засмеялся.

— Повезло нам с тобой, боцман, прямо скажем... И откуда ее черт принес? Тут и заграждений-то рядом нет...

Хазов промолчал. Артюшин хотел добавить, что завтра, выходит, снова придется дважды проходить мимо этой окаянной мины, раз она болтается в бухте и деваться ей некуда. Но, подумав, он оставил это открытие при себе: неписаные правила поведения людей на войне воспрещают делиться с товарищами такого рода соображениями,— догадался, ну, и помалкивай, нечего других расстраивать. Да и сам он постарался не думать об этом. Все равно ничего тут сделать было нельзя: ни расстрелять ее, ни разоружить. Чтобы отвлечься от этих бесполезных мыслей, он начал считать гребки. Досчитав до двухсот, когда, по его соображениям, шестерка должна была уже миновать подводную гряду, он окликнул Хазова:

— Не пора ворочать, боцман?

— Скалы еще.

— Долго нынче идем.

— Зыбь.

— Тогда давай навалимся.

Боцман даже не ответил.

Считать гребки надоело, но, пожалуй, их набралась еще добрая сотня, когда Хазов, наконец, сказал:

— Галька. Давай на курс.

Артюшин оставил весло и наклонился к компасу, чтобы включить свое хитрое освещение. Боцман двумя гребками развернул шлюпку кормой к берегу.

— Ну, скоро ты там? — спросил он.

— Техника на грани фантастики,— смущенно ответил Артюшин.— Наверное, проводок отскочил. Говорил Юрке — подлиньше припаивай...

— Зажги лучше маслянку, вернее будет.

— Да тут делов на момент, зато потом спокойней пойдем. Сейчас прикручу.

Фонарик Артюшина, подаренный ему кем-то из разведчиков, заряжал обычно Сизов, загоняя туда элементы из «Бас-80» — «батареи анодной сухой восьмидесятивольтовой», которых у него, как у всякого радиста, было предовольно. Но потому ли, что Юра был расстроен предстоящей высадкой, или потому, что Артюшин торопил его, фонарик нынче отказал. Артюшину пришлось открывать дверцу и на ощупь прикручивать проволочку к контактной пластинке.

Хазов не торопил его: минута-две ничего не меняли, а удобства артюшинского освещения стоили этой задержки. Он сидел, отдыхая, спокойно положив руки на валек весла, и смотрел на Большую Медведицу, свесившую хвост как раз над кормой. Шлюпка лениво шевелилась на зыби. Глубочайшая тишина стояла вокруг, даже того легкого плеска воды о камни, который слышался в бухте, здесь не было.

Вдруг ему показалось, что часть звезд ниже Медведицы скрылась. Он присмотрелся. Звезды на краю неба исчезали одна за другой, словно на них надвигалась непроницаемо плотная туча. Прошло еще с минуту, когда стало понятно, что закрывает их скала — та самая скала, которую они уже проходили, приближаясь к отлогому берегу.

— Артюшин, садись за весло! — тревожно сказал он.

— Сейчас. Уже наладил, включаю...

— На воду, говорю! Шлюпку сносит!

Артюшин схватился за весло. Они развернули шестерку снова вдоль берега, продвинули ее вперед, потом Хазов приказал сушить весла, всматриваясь в скалы. Едва они перестали грести, шестерка сразу же пошла назад. Чтобы удерживать ее на месте, приходилось делать довольно частые гребки.

— На воду! — сказал Хазов.— К гальке приткнемся...

Они снова начали грести. Шлюпка пошла к тому же месту, где недавно разворачивалась. Но все то, что тогда не привлекало их внимания, сейчас доказывало скорость этого неожиданного течения: и медленность, с какой уходили назад скалы, и количество лишних гребков. Артюшину даже померещилось, что вода за бортом журчит, как будто шлюпка идет не по морю, а по реке, и довольно быстрой.

На самом деле так оно и было: шестерку сносила назад невидимая река.

Накануне того дня, когда «СК 0944» вышел к бухте Непонятной, только что утих зюйд-вестовый шторм, доходивший до семи-восьми баллов. Трое суток подряд все то огромное количество воды, которое образует собой Черное море, находилось в непрестанном, сильнейшем движении. Вряд ли на всем его пространстве от Босфора до Керчи оставалась в покое хоть одна капля. Тяжелые массы соленой воды колыхались, вздымались, опадали, сшибались, превращались в зыбкие крутые горы, в пологие ложбины, в холмы и обрывистые овраги. Ветер, пролетая над созданным им клокочущим кипением, гнал громадные валы в одном направлении. Украшенные белопенными султанами, они как бы догоняли друг друга, мчась в стремительном беге вслед за низкими рваными облаками, проносившимися над ними к северо-востоку.

На самом деле неслись туда только эти облака. Волны же, вопреки сложившемуся поэтическому представлению о них, никуда не стремились, не катились и не бежали чередой: вода, составляющая их, стояла на месте, лишь перемещая свои текучие частицы вверх и вниз по замкнутым круговым орбитам, безостановочно меняя этим свою форму и создавая впечатление быстрого бега волн. Однако некоторый тонкий слой ее и в самом деле передвигался вслед за ветром к берегам Крыма и Таманского полуострова. И так велико было Черное море, что этого тонкого слоя, сдвинутого ветром в северо-восточный его угол, оказалось достаточно, чтобы порядком поднять там уровень воды и образовать обратное течение.

Оно началось сразу же, едва напор ветра ослаб. Море еще продолжало вздыхать невысокими волнами зыби, постепенно успокаиваясь, а те значительные массы воды, которые шторм нагонял сюда целых три дня, уже стремились обратно, на юго-запад. Медленными невидимыми реками они текли по Черному морю в разнообразных и капризных направлениях, зависящих от местных береговых ветерков, температуры встречных слоев воды и рельефа дна.

Одно из таких обратных течений, зародившееся в Феодо-

сийском заливе, куда шторм нагнал особенно много воды, направилось вдоль берега Крыма. Сильные его струи шевельнули встреченную на пути тупоголовую черную мину, плавающую на поверхности. Та сперва только лениво повернулась, но потом, словно надумав, сдвинулась и поплыла вместе с течением. Короткий обрывок троса болтался у нее под брюхом: два дня тому назад шторм сорвал ее с якоря, на котором, охраняя от советских кораблей советские же берега, она простояла более года, так и не дождавшись толчка, который разбудил бы дремлющую в ее утробе черно-желтую тротиловую смерть. Плавно покачиваясь на затихающей зыби, мина весь следующий день плыла вдоль берега на запад. В сумерках ее поднесло к бухте, у входа в которую выдвигались в море скалы. Отброшенное ими течение образовало здесь довольно крутой изгиб. На повороте мину вынесло из движущихся струй в неподвижную воду бухты. Вернуться в протекающий мимо поток она уже не смогла и, подталкиваемая случайными струями его, заглядывающими сюда, начала описывать между скалами неправильные кривые, петли и спирали, мягко вздымаясь и опускаясь на зыби.

Именно с ней, едва не столкнувшись, и встретилась выходящая из бухты шлюпка. И точно так же, как появление здесь мины было полной неожиданностью для сидящих в шлюпке двоих людей, не меньшей неожиданностью для них оказалось и то, что вдоль берега шло сильное течение на запад. Они пытались все же с помощью двух тяжелых весел продвигать навстречу ему неуклюжую шлюпку, не понимая, что, по существу, вступают в поединок с Черным морем, которое, восстанавливая свой нарушенный штормом уровень, перемещает из одного своего угла в другой безмерно громадные массы воды.

Не вдаваясь в истинные причины сноса шлюпки, Хазов, едва обнаружив его, тотчас стал действовать так, как в этих условиях было единственно правильно и необходимо. Нужно было немедленно же зацепиться за берег, чтобы удержать шестерку там, куда им удалось ее довести, и тогда уже пытаться понять, что же происходит и что им следует делать. Гладкие скалы берега и камни возле него не давали этой возможности. Но как только шлюпка, с трудом выгребая против катящегося навстречу ей неудержимого потока, миновала, наконец, последнюю скалу, Хазов повернул и приткнул ее носом к гальке отлогого берега, начинавшегося отсюда.

— Ну, старшина, давай соображать. Время для начала заметь,— сказал он обычным своим спокойным тоном.

Артюшин посветил фонариком на часы.

Оказалось, на переход сюда из бухты они потратили почти

вдвое больше времени, чем при прошлой высадке,— около получаса. Это был уже достаточный показатель силы течения, вполне определивший серьезность положения. То обстоятельство, что течение шло как раз вдоль берега, то есть на запад, вносило окончательную ясность. Это означало, что, когда шлюпка начнет грести к катеру, снос будет наибольшим из возможных, так как течение придется под прямым углом к курсу.

— Выходит, пронесет нас мимо катера,— сказал Хазов, произведя в уме несложные расчеты.— Не выгрести.

— Сюда же выгребли,— возразил Артюшин.— Это у берега так тянет. Если б в море так сносило, мы бы на камнях сидели.

— А мы через них и проскочили.

— Скажешь тоже,— обиделся Артюшин.

— Я срамить тебя не хотел. Ты куда шестерку вывел? Я думал, компас у тебя врет, а получается — снесло.

Артюшин вспомнил, что шлюпка, и точно, вышла не сюда к отлогому берегу, куда в обход подводной гряды был проложен курс, а на какую-то высокую скалу. Тогда он подумал, что это была первая скала рядом с пляжем, и не придал значения небольшой неточности курса. Теперь он оценил это иначе.

— Получается так,— согласился он.— Градусов на пятнадцать снесло, не меньше. И как это нас на камни не посадило?

— Бывает. С миной вот разошлись.

— Ну, возьмем на снос тридцать градусов, вот и выйдем на катер,— уверенно сказал Артюшин.— Конечно, грести уж на совесть придется.

Хазов покачал головой.

— Сил не хватит. Почти час гресть. Не выйдет на двух веслах: на шести — и то куда снесло.

Некоторое время они сидели молча. Потом Артюшин сказал:

— Наверное, с Азовского тянет, туда нагнало. Вполне понятное дело.

— А нам с того легче?

— Все-таки научное открытие. И ту шестерку, видно, так же унесло, помнишь, накануне тоже шторм был?

— Вот и унесло, раз к катеру пошли. Ну, так что делать будем? Время идет.

Глубокая полная тишина стояла над ровным каменистым пляжем, уходящим на восток. Чуть пошевеливалось за бортом оставленное в уключине весло, лопасть которого лежала на воде, катившей мимо шлюпки быстрые струи невидимой реки. И берег и море, как бы отдыхая после недавнего потрясения штормом, сохраняли удивительный покой, следя за бесшумным ходом звездного неба, которое поворачивало над ними свою мерцающую, светящуюся, играющую огнями дальних миров

сферу. И двое людей, сидевших в шлюпке, тоже как будто отдыхали в неторопливом ожидании кого-то, кто должен подойти сюда, в условленное место,— так спокойны были те короткие фразы, которыми они время от времени перекидывались, и так обыденны были их позы. Один полулежал на банке, как бы рассматривая звезды, другой сидел, удобно облокотившись и медленно поглаживая ладонью подбородок и щеку.

Между тем в звездной спокойной ночи по скалам берега пробирались в горы моряки, успех трудного военного дела которых зависел от этой шлюпки, а в море, в миле от берега, стоял катер, дальнейшие действия которого были связаны с ее возвращением, а далеко отсюда, в Москве, люди, управлявшие ходом войны, ожидали результатов того, что должны были выполнить разведчики морской пехоты и моряки катера и что было нужно для улучшения военной судьбы огромной страны и ее многомиллионного населения. Рассчитанный и проверенный ход этой незначительной маленькой операции, имеющей столь значительный и большой смысл, вдруг нарушился стихийным обстоятельством, которое невозможно было предвидеть: капризным поворотом отливного послештормового течения в северо-восточной части Черного моря.

Исправить этот нарушившийся ход операции не могли ни командир катера, ни высадившийся с разведчиками боевой офицер, майор Луников, ни те, обладающие громадной властью, опытом и знаниями военные и государственные люди, которые управляли ходом всей войны. Сделать это могли только эти два человека, сидевшие в шлюпке,— два советских человека, носящих военно-морскую форму, два матроса, два коммуниста.

И они пытались решить, что же можно сделать в данном сложнейшем положении. И хотя в тех коротких фразах, которыми они перебрасывались, не было и намека на то, что оба понимают и чувствуют ответственность за успех операции, важный смысл которой был им даже неизвестен,— все, что они говорили, было направлено к одной цели: исправить ход этой операции, нарушенной последствиями шторма.

Они обсудили и отвергли уже несколько решений. Круг все сужался. Сперва стало ясно, что возвращение на шлюпке к катеру сейчас невозможно. Ожидать же, когда течение прекратится или хотя бы ослабнет, было тоже невозможно: это могло произойти одинаково вероятно и через час и через сутки. Тогда в обсуждение вошла другая тема: остаться со шлюпкой здесь, спрятав ее в камнях, а завтра, с темнотой, привести в бухту, куда должны вернуться разведчики. Предложил это Артюшин, и Хазов сперва ухватился за эту мысль. Конечно, в этом был

серьезнейший риск: если бы шлюпку заметили, то разведчикам неминуемо устроили бы засаду. Но потом Хазов припомнил, что сегодня, выводя шестерку из бухты, он случайно обнаружил под нависшей скалой нечто вроде грота, где вполне возможно спрятать шестерку, залив ее водой, чтобы понизить борта.

— Ну, и притопим,— весело сказал Артюшин,— а завтра, как стемнеет, начнем отливать. Согреемся, по крайней мере... Значит, пошли?

Он взялся уже за весло, как боцман остановил его вопросом:

— А на катере?

— Что на катере?

— Откуда на катере будут знать, что завтра надо за нами вернуться?

Артюшин молча отпустил весло. Повиснув в уключине, оно легло лопастью на струившуюся мимо борта воду и снова начало пошевеливаться на ней.

В самом деле, прождав шлюпку до рассвета, лейтенант Решетников будет вынужден уйти, как неделю назад ушел старший лейтенант Сомов, также не дождавшись своей шлюпки. Артюшин знал, что утром майор должен будет связаться по радио с катером, тогда Решетников сообщит ему о пропаже шлюпки, и тот не приведет разведчиков в бухту. Таким образом, получалось, что прятать шлюпку вдвойне бессмысленно.

— А фонарик? — сказал вдруг Артюшин.

— Что фонарик?

— Поморзим на катер, вот и узнают.

— Нельзя.

— Знаю, что нельзя. Да бывает, что и нельзя — можно.

— А тут нельзя. Сказано — ничем себя не обнаруживать.

— Так ведь момент, боцман: мигну — Птахов враз примет.

— А что ты мигнешь?

Артюшин задумался. Но как ни вертел он слова, составляя донесение, все-таки выходило, что морзить придется далеко не «момент», а больше минуты. Кроме того, и катер должен был ответить на вызов. Всего этого за глаза хватало, чтобы провалить всю операцию. Он с сожалением повертел в руках фонарик и положил его на банку.

— Значит, фокус не удался. Давай дальше думать.

И он снова вернулся к мысли, как бы все-таки довести шестерку до катера. Теперь он предложил подняться против течения вдоль берега на милю. Это займет, правда, около часа, зато даст полную гарантию, что шлюпку не пронесет мимо катера. Однако, когда Хазов спросил его, способен ли он будет грести два с лишним часа подряд, не отдыхая ни минуты да



еще наваливаясь, так как каждая минута отдыха и каждый слабый гребок означали дополнительный снос, он тут же отказался от этого своего предложения и выдвинул новое, прямо противоположное:

— Тогда затопим шлюпку и уйдем в горы. Авось найдем к утру партизан, майор передаст, чтобы катер пришел завтра с другой шлюпкой,— всего и делов.

Хазов помолчал.

— Не знаем мы, где их искать, не годится. А вот насчет другой шлюпки — ты это верно.

— Что верно? — не понял Артюшин.

— Сходить катеру за ней в базу, вот что. Вполне до завтрашней ночи может обернуться.

— Так и я про то говорю.

— Про то, да не так. Плыть нам надо на катер, вот как.

Теперь помолчал, соображая, Артюшин.

— Так ведь тоже снесет,— возразил он наконец.— Хуже, чем шлюпку.

— А если против течения подняться, как ты говорил? Только не по воде, а по берегу. Быстро, и не устанем.

Артюшин опять помолчал, взвешивая его слова.

— Километра полтора пройти — тогда не пронесет. Вода вот холодна.

— Быстрей поплывем — согреемся.

— Это верно. Так решили, что ли?

— Видно, надо решать,— сказал Хазов.

— Обожди. Плыть недалеко — милю, да вода холодна. На шлюпке все же вернее. Давай еще подумаем.

Они посидели молча с минуту, перебирая в уме уже отвергнутые варианты и ища новые. Вдруг Артюшин засмеялся и хлопнул себя по коленке.

— Ну и головы!.. Чего тут думать: садись на руль, а я фалинь на плечо — и рысью по берегу!

Он сказал это с такой веселой уверенностью, что Хазов невольно привстал на банке, собираясь пересесть на корму. Конечно, вернее всего было протащить шестерку вдоль берега на фалине — конце, которым привязывают шлюпку,— подобно тому как ведут на бечеве лодку против течения. Это сохранило бы им время, и силы, и самую шлюпку.

Но для этого требовалось, чтобы отлогий берег тянулся, по крайней мере, полтора километра. Между тем боцман, которого Решетников, по примеру Луникова, тотчас после ужина заставил хорошенько рассмотреть карту, помнил, что галечный пляж метров через пятьсот снова переходит в скалистый берег. Пройти там пешком было можно, но тащить за собой шлюпку

на коротком фалине никак не удалось бы, и грести все равно пришлось бы минут сорок.

Все это боцман немногословно объяснил Артюшину. Тот молча выскочил из шлюпки.

— Как там время? — спросил он.

— Камней наберу, а ты пока оружие вытаскивай.

Оба взялись за дело, стараясь наверстать время, ушедшее на поиски выхода. В шлюпку для верности наложили камней, потом спрятали в скалах оба автомата, гранаты и компас, чтобы завтра, если все обойдется благополучно, захватить с собой на обратном пути. Масляную лампу Артюшин вынул из нактоуза и положил на гальку в бескозырке вместе с фонариком.

Хазов вывинтил чоп — пробку в днище, и вода журчащим фонтаном забила в шлюпку. Выскочив из шестерки, боцман сильным ударом столкнул ее на глубину под скалы.

— Как там время? — спросил он.

Артюшин зажег свой фонарик. На их военный совет, на переноску оружия и камней ушло двадцать четыре минуты.

— Долго провозились,— недовольно сказал Хазов и тут же двинулся широким шагом по берегу.— Пошли? Быстрей пойдем! И прогреемся, и время наверстаем.

Артюшин подобрал бескозырку и компасную лампу и, почти бегом догнав боцмана, подладился ему в ногу и зашагал рядом. Галька, стуча, откатывалась из-под их подошв. Боцман действительно дал хороший ход, и скоро обоим стало тепло, потом жарко. Так они шли молча минут пять. Хазов увидел, что Артюшин несет что-то в руке.

— Ты что тащишь?

— Лампу взял из нактоуза.

— Фонаря тебе мало?

— Маслом намажемся. Я об одном проплыве читал, обязательно мазаться надо. От холода спасет. Плывешь, что в фуфайке.

Больше за все время этого стремительного хода по пустынному ночному берегу они ни о чем не говорили. Только хрустела и стучала галька, отмечая каждый их шаг. Порой она сменялась песком, плотно укатанным волнами, и тогда идти становилось легче, ноги упруго отталкивались от него, но затем опять вязли в сыпучей массе мелкой круглой гальки. Потом все чаще стали попадаться большие камни, которые приходилось обходить, чтобы не лезть по грудь в воду, потом берег стал обрывистым и раза три-четыре пришлось карабкаться на скалы. Они снова сменились отлогим галечным пляжем, и тут боцман остановился так же решительно, как начал этот ночной переход вдоль берега.

— Сколько прошли?

— Восемнадцать минут.

— Хватит?

— Ход был хороший. Километра полтора с гаком отхватили.

Хазов повернулся к Большой Медведице:

— Давай курс, штурман.

Они легко нашли Полярную звезду. Боцман стал лицом к ней, а Артюшин спиной к его спине. Выбрав среди звезд перед собой одну поярче, которая была градусов на двадцать левее, он показал ее Хазову.

— На нее и будем держать, запомни, лоцман. Ну, на старт, что ли? До чего же неохота, братцы... Холодна же, окаянная!

Они быстро разделись. Свежий ночной воздух охватил разгоряченные тела. Артюшин, разделив пополам масло, налил его на ладонь боцману и себе. От масла стало еще холоднее. Но надо было связать одежду в узел, набить брюки галькой. В последний раз взглянув на часы, Артюшин отчаянным жестом далеко закинул в море фонарик, но часы оставил на руке, надеясь сам не зная на что.

Взяв узлы с одеждой, они вошли в воду, и вначале показалось, что в ней теплее, чем на воздухе. Дно быстро понижалось. Зайдя в море по грудь, они забросили вперед свои тяжелые узлы, и те сразу затонули.

Мягкая волна зыби оторвала их от песчаного дна, и они поплыли. Артюшин легко нашел избранную им яркую звезду и повернул прямо на нее. Боцман, держась с левой его руки, поплыл рядом. И так же, как на шестерке, они, не уговариваясь, нашли общий, наивыгоднейший для обоих ритм, так и сейчас, проплыв минуту-две в некотором разнобое, то отставая, то перегоняя друг друга, оба вскоре широкими и свободными движениями поплыли голова в голову.

Помогало ли артюшинское масло или в телах их был еще достаточный запас тепла, но первое время холод окружающей их воды почти не ощущался. Они плыли брассом, самым экономным и выгодным для далекого проплыва стилем, плыли не торопясь, сберегая силы. Несколько мешала зыбь. Она приподымала их — и тогда движения затруднялись, потом мягко опускала — и тут рукам было легче разгребать воду. Наконец оба приладились и к этому.

Монотонность плавательных движений убаюкивала. Ра-аз, два-три,— пауза. Ра-аз, два-три,— пауза... Сто, двести, тысячу раз... Казалось, думать о чем-нибудь было невозможно, кроме этого подчиняющего себе ритма. Однако Хазов думал.

Он думал все о том же, о чем думал почти всегда и отчего на лице его было то постоянное выражение сосредоточенности

или, наоборот, рассеянности, которое обращало на себя внимание всякого, кто смотрел на него. Эта постоянная, неотвязная мысль никому не была известна. Он хранил ее в себе, не делясь ни с кем, потому что никто в целом мире не мог бы помочь ему ни дружеским, ни любовным словом утешения. Она была привычна ему, как дыхание, как биение сердца. И так же как без них он не мог бы жить, так и без этого воспоминания он не мог бы продолжать жизни. Он отлично понимал всю бесполезность этой мысли, всю беспомощность воспоминания, которое никогда не может восстановить прошлого. Но вместе с тем он боялся, что настанет время, когда постоянная эта неотвязная мысль покинет его, когда воспоминание, потускнев, исчезнет, и тогда Петр действительно умрет, действительно уйдет из его жизни.

Есть люди, для которых горе — как ураган. Оно разрушает все вокруг, оно способно убить самого человека, переживающего это горе, оно делает из молодого — старика. Но, как ураган, оно проносится, и солнце вновь проглядывает на небе, и только далекий отзвук горя, с такою страстной мукой перенесенного, грохочет где-то вдали мягким рокотом ушедшей грозы. А воздух вокруг полон уже свежести, и трава, прижатая ураганом к земле, поднимается в необыкновенно яркой своей зелени, и жизнь возвращается — может быть, даже с большей силой.

Но есть люди, для которых горе — как осень, долгая, тяжелая, холодная осень беспросветных дней и длинных пустых ночей, лишенных сна и покоя. Горе, которое поселяется в душе по-хозяйски, надолго, с которым человек свыкается, как с непроходящей болезнью, горе, так давно потерявшее свою остроту, что его, быть может, уже и не надо называть горем. Чаще всего такое горе приживается в материнском сердце, которое не умеет забывать. Воспоминания живут в нем, подсказывая исчезнувший голос, зажигая угасший взгляд, восстанавливая тысячи мелочей, связанных с детством ушедшего ребенка, который умер совсем не ребенком. Ни с кем не говорит об этом мать, все хранит в себе, и только задумчивость или рассеянность укажут порой другим, что милое виденье все живет в ее печальном сердце.

Такое непроходящее, постоянное горе и поселилось в душе Никиты Хазова. Может быть, потому, что отцовское чувство его было более материнским.

Разглядывая фотографию Петра Хазова, лейтенант Решетников подсчитал, что он никак не может быть сыном Никиты Петровича: получилось, что тот стал отцом в восемнадцать-девятнадцать лет. Между тем так оно и было. Никита Петрович (тогда еще Никитка) женился именно восемнадцати лет,

женился по какой-то ошалелой, внезапной, не желающей ни с чем считаться любви. И Наташе было столько же. Никита только что кончил школу, собирался держать экзамены в училище имени Фрунзе, а она — в медицинский институт. Что и как случилось, теперь уже невозможно было ни понять, ни вспомнить. Была севастопольская весна с сиренью, цветущим миндалем, с воздухом, живительным и томящим, была юность, честная, не знающая сделок с совестью. И была любовь, цельная, уносящая, всенаполняющая.

Когда выяснилось, что у них — самих почти детей — будет ребенок, Никита сказал, что надо пожениться. Она пусть идет в институт, а он будет работать — его звали на Морской завод. Ждали почему-то девочку, а родился сын. Наташа уехала в Москву, потеряв год, Петр остался на руках бабушки и самого Никиты. В тот год, когда его призвали во флот, Наташа умерла, порезав на вскрытии палец.

По-настоящему Никита Петрович узнал сына, когда тому минуло пять лет: тогда, оставшись на сверхсрочную, он стал бывать дома почти каждый день. Он таскал мальчика на катер, ходил с ним в порт, и скоро на дивизионе привыкли к тому, что Петр целые дни проводит тут. И так же как в свое время Никита Петрович знал, что жизнь его пройдет на флоте, так теперь знал он, что сын его непременно будет флотским командиром. Все мысли и действия обоих были направлены к тому самому училищу имени Фрунзе, поступить в которое отцу сын помешал своим появлением на свет.

Петр погиб в марте сорок второго года. Он оставался в Севастополе, прибившись к морякам Седьмой бригады морской пехоты, не считая возможным для себя эвакуироваться с мальчишками. Война щадила его, хотя он был в довольно горячем месте — у Чоргуна, напрашивался в разведку, ходил в атаку с полуавтоматом. Потом начальство распорядилось отправить его на Большую землю. Дважды он убегал с кораблей, увозивших семьи и раненых. На третий раз его все-таки удалось отправить на госпитальном судне. У мыса Меганом судно это потопили торпедоносцы.

Петр тонул в такой же холодной воде, в какой плыл сейчас он. И привычная внутренняя тоска, почти не выражавшаяся вовне, теперь усиливалась ощущением этой холодной воды.

Может быть, вот так же плыл и Петр, разводя в ней тонкими, еще не окрепшими руками подростка: ра-аз, два-три,— пауза, ра-аз, два-три,— пауза. Но впереди у него была безнадежность. Не только невозможность доплыть до берега, но и бессмысленность этого: на берегу был враг.

Что он думал, что переживал? Как он пошел на дно? Из-

немогши от усталости или сознательно, бросив ненужную борьбу?

Странным образом Решетников с некоторых пор напоминал Хазову сына. Все было непохоже: возраст, характер, биография,— но было между ними что-то общее. Как будто Петр вырос и стал лейтенантом и командиром катера. Хазов долго не мог понять: что же именно? И только когда Решетников рассказал ему о «вельботе», об озере, о разговоре в степи и о туче над ней, Хазов понял, что общим у них с Петром была та еще не осознанная, необъяснимая, почти инстинктивная любовь к морю и флоту, которая двигала их поступками. Он вспомнил, как в один из приходов катера в Севастополь отпросился на берег и нашел сына в окопике у Чоргуна. Тогда в ответ на уговоры отца эвакуироваться на Кавказ, где он сможет продолжать учиться, Петр ответил: «А флот кто защищать будет? Дядя? На корабли не пускают, так я здесь с моряками бок о бок дерусь, и сам моряк!..»

Ра-аз, два-три,— пауза... Ра-аз, два-три,— пауза... Конечно, через десять лет он стал бы таким же, как Решетников. Такой же ершистый, самолюбивый, прямой. И смелый.

— Боцман! — сказал вдруг рядом Артюшин.

Хазов повернул голову:

— Ну что?

— Знаешь, как в обозе кричат? На заднем возу хреновинка вышла, батька помер...

— Не пойму, о чем ты.

— Судорога меня прихватила, вот что. Руками плыву. Отстану.

— Хватайся за меня.

— Не. Плыви вперед. Справлюсь, доберусь.

— Хватайся, говорю.

— Слушай, боцман... Ты со мной тут прочикаешься, а катер уйдет. Ждать не будет.

— Никуда он не уйдет до самого рассвета.

— Ну да. Пождет, да и даст ходу.

— Ты глупостей не говори,— сурово сказал Хазов.— Не такой у нас командир. Хватайся за шею.

— Снесет нас. Вперед плыть надо.

Хазов подплыл к нему и силком положил его руку к себе на плечо.

— Тогда погоди,— смирился Артюшин.— Дай я попробую ногу растереть. Вот тебе и масло, черт его...

Он забарахтался в воде, энергично растирая ногу. Хазов держался на месте, медленно разводя руками. Зыбь покачивала их, течение поворачивало в воде. И тогда перед глазами

Хазова над водой вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Потом по воде докатился плотный трескучий звук взрыва.

— Что это? — спросил Артюшин.

— Твоя хлопнулась. Завтра чисто в бухту входить будем,— спокойно ответил Хазов.— Ну, подправился?

— Погоди, сейчас.

Все еще держась за его шею, Артюшин сделал несколько движений ногой, потом отпустил Хазова.

— Порядок! Полный вперед! Ложусь на курс!

Он повернул снова на избранную им звезду, и опять оба вошли в одинаковый, выгодный для обоих ритм: ра-аз, два-три,— пауза, ра-аз, два-три,— пауза. Зыбь подымала и опускала их так же, как еще недавно подымала она и опускала в бухте большую тупоголовую мину, пока на каком-то стотысячном подъеме не поднесла ее к мелкому месту и не опустила на подводный камень. Собственным своим весом мина произвела необходимый толчок ударного приспособления и взорвалась, никому не причинив вреда.

Сколько времени они плыли, ни тот, ни другой сказать бы не могли. Не признаваясь друг другу, они уже начинали отчаиваться. Видимо, расчеты их оказались неверны, и их уже пронесло мимо катера. Но они упорно двигали руками и ногами в этом монотонном, почти безнадежном ритме: ра-аз, два-три,— пауза, ра-аз, два-три,— пауза. Безмерная усталость сказывалась на сердце, на дыхании, на мышцах.

И тогда боцман сказал, словно невзначай:

— На катере, пожалуй, больше нас переживают. Мина-то в самой бухте хлопнула, на нас подумали. Надо доплыть, Степан, а то никто ничего не поймет. И бухту загубят. А она правильная.

Эту длинную для пловца речь он произнес по крайней мере в десять приемов. Артюшин ответил короче:

— Факт, надо. Мы и плывем.

Они проплыли еще минуты три, и вдруг Артюшин заорал так громко, как только можно заорать в воде:

— Боцман, вижу! Зеленый ратьер вижу! Провались я на этом месте, вижу! Братцы, что же это делается? Вижу! Гляди правее, вон туда!

Хазов рывком выбросил плечи из воды и тут же увидел зеленую точку. Она светила на самом краю воды, до нее, казалось, было безмерно далеко, но она светила!

Они повернули на нее. И тут оказалось, что она совсем не так далеко. Зыбь приподымала их, и всякий раз зеленая точка сияла им верным светом надежды и спасения. С каждым дви-

жением рук они приближались к ней, к катеру, к теплу, к продолжению жизни.

Теперь, когда великий их воинский долг был выполнен, когда самим появлением своим они вносили ясность в запутанную обстановку бухты Непонятной, когда важнейшее задание, имеющее государственное военное значение, было обеспечено,— они думали о том, о чем до сих пор ни у одного из них не мелькнуло и мысли: что они спасены, что они не утонут, что в этом громадном ночном море они не проскочат мимо крохотного катерка, стоящего в нем на якоре.

Время пошло в тысячу раз быстрей. Они не успели опомниться, как зеленый огонь достиг нестерпимой яркости и руки их коснулись благословенной, желанной твердости борта.

И тут Артюшин не удержался.

— На катере! — закричал он слабым голосом.— Прошу разрешения подойти к борту!

На палубе зашумели, раздался топот многих ног, потом послышался тревожный голос Решетникова:

— Оба здесь? Боцман где?

— Здесь, товарищ лейтенант!

Сильные руки вытянули их на борт.

Через минуту блаженное тепло охватило их иззябшие тела. Остро пахло спиртом, видимо, их растирали. Хазов поймал чью-то руку, больно царапавшую кожу на груди.

— Командира позови...

— Здесь я, Никита Петрович, слушаю.

— Товарищ лейтенант, в бухте все в порядке... Течение, не выгрести... Надо идти в базу, взять другую шлюпку... Завтра проведем туда... Мина была... Взорвалась... Чисто...

— Понятно, Никита Петрович, сделаю.

Но Хазов уже ничего не слышал. Сознание его провалилось в мягкую, но сухую и теплую бездну. «Ра-аз, два-три,— пауза... Ра-аз, два-три,— пауза...»

Решетников вышел на палубу из отсека среднего мотора, куда внесли боцмана и Артюшина. Полной грудью вдохнув свежий воздух, он громко скомандовал:

— Радиста ко мне! На мостике! Выключить зеленый луч!

О подвиге морском

Леонид Сергеевич Соболев (1898—1971) — выдающийся писатель-маринист, один из зачинателей советской литературы о море, о людях Военно-Морского Флота. Уроженец Иркутска, сын отставного офицера, он под влиянием морских романов и книг о путешествиях рано увлекся романтикой моря и решил связать свою судьбу с Военно-Морским Флотом. Двенадцатилетним мальчиком поступил в Петербургский кадетский корпус, затем учился в военно-морском училище. Гардемарином этого училища встретил революционный 1917 год. Комендором миноносца услышал залп «Авроры». С первых дней образования Рабоче-Крестьянского Флота стал в ряды балтийских моряков и, еще не окончив штурманский класс, участвовал в подавлении белогвардейского мятежа на фортах Красная Горка и Серая Лошадь. Позже он служил на тральщиках и эсминцах, на линкоре и сторожевых судах. Это позволило будущему писателю приобрести глубокие знания корабельной и флотской жизни, понять своеобразие человеческих отношений на замкнутой территории, какой является боевой корабль.

Первые литературные опыты Леонида Соболева относятся к ранней юности. Только в 1926 году в журнале «Красный Флот» были опубликованы его произведения — очерк «Ленин» в Ревеле» (так назывался один из кораблей на Балтике) и юмористический рассказ «Полезная привычка», положившие начало его писательской биографии. Молодой писатель активно сотрудничает во флотской печати, участвует в работе кронштадтского литературного объединения. Со временем его приглашают по совместительству заведовать отделом сатиры и юмора в новом журнале «Краснофлотец», на страницах которого появляются хлесткие юмористические стихи и рассказы писателя, обличающие недостатки корабельного быта, высмеивающие отрицательные черты характера моряков.

Леонид Соболев был в числе тех литераторов-балтийцев, кто принимал живейшее участие в создании ЛОКАФа — Литературного Объединения Красной Армии и Флота. Он был избран оргсекретарем Ленинградско-Балтийского отделения этого объединения, а через некоторое время назначен ответственным секретарем нового локафовского журнала «Залп».

Это было время бурного роста литературных рядов, к читателю шел писатель нового типа — выходец из недр трудового народа. Чтобы целиком отдаться литературному труду, Леонид Соболев в 1931 году демобилизуется и принимается за работу над большим произведением о дореволюционном флоте «Капитальный ремонт». Впервые роман полностью был опубликован в журнале «ЛОКАФ» (ныне «Знамя») в 1932 году — к пятнадцатой годовщине Октября. В этом публицистически заостренном повествовании дана глубоко

правдивая и художественная типизированная картина классовых противоречий на большом военном корабле накануне мировой войны, показано, как во флотской среде в это сложное время зреет понимание неизбежности революционного взрыва, который приведет к «капитальному ремонту» не только всей системы отношений на флоте, но и укажет путь к обновлению всей общественной жизни в стране. Одной из характерных черт Соболева-художника является то, что события на военном корабле он показывает на фоне непримиримых общественно-политических противоречий, раздирающих царскую Россию в грозовую предреволюционную пору. И это придает роману большое социальное звучание, наполняет его притягательной познавательной и нравственной силой. Недаром он был вскоре после публикации переведен на многие языки мира. Роман еще при жизни писателя стал классическим образцом литературы социалистического реализма.

Нарастала военная угроза нашей стране. Советские писатели все больше обращаются к оборонной тематике.

Чтобы окунуться в атмосферу современной корабельной жизни, освежить впечатления, писатель весной 1936 года едет к морякам Черноморского флота, в Севастополь. Здесь предстоял длительный учебный поход подводной лодки в открытое море, и Соболев охотно соглашается принять в нем участие. Это были незабываемые дни живого общения писателя с прообразами его героев, наглядные уроки того, как в условиях боевых будней Красного Флота формируются характеры советских людей — будущих защитников морских рубежей Родины.

Ко времени похода на подводной лодке относится завершение работы над одним из самых жизнерадостных и веселых циклов Леонида Соболева, названного им «Рассказы капитана 2-го ранга В. Л. Кирдяги, слышанные от него во время «великого сидения». Это серия юмористических рассказов. Образ рассказчика — старого балтийского моряка Василия Лукича Кирдяги — собирательный. Он появился в творчестве Леонида Соболева еще в двадцатые годы, когда он активно сотрудничал в краснофлотских журналах. В этом образе много черт, близких характеру самого писателя, умевшего живо, с хитринкой, с веселой прибауткой рассказать в лицах смешные истории и ситуации, встречающиеся на его жизненном пути.

Поездка в Севастополь дала писателю материал и для рассказа «Рождение командира». Леонид Соболев не раз приходил на знаменитую Графскую пристань, видел, как от причалов этого священного для каждого моряка места отходили катера к линкорам и крейсерам, увозя флотских командиров. Ему захотелось написать о молодом командире флота, который только начинает свой путь, показать процесс «превращения обыкновенного человека в особое существо, именуемое моряком». Так родился этот тонкий психологический рассказ, запечатлевший тот решающий миг, когда между молодым лейтенантом и матросами — его подчиненными возникают отношения взаимного доверия и корабельного братства. Позже эта тема получит развитие и углубление в повести писателя «Зеленый луч».

С особой силой раскрылись дарование и гражданское мужество Леонида Соболева в годы Великой Отечественной войны. У писателя уже был фронтовой опыт, приобретенный в дни войны с белофинами; им были тогда опубликованы несколько рассказов и очерков о стойкости и отваге советских людей. И этот опыт пригодился. На второй день Отечественной войны, 23 июня 1941 года, в «Правде»

был опубликован первый писательский отклик в советской печати на вероломное нападение гитлеровцев на нашу страну — статья Леонида Соболева «Отстоять Родину!» А через несколько дней писатель отбыл на Балтику в качестве корреспондента Политуправления Военно-Морского Флота и газеты «Правда».

Позже по его настоятельной просьбе он был командирован в осажденную Одессу —город, на долю которого выпало надолго преградить путь огромным полчищам врагов, рвавшихся в глубь страны. На попутном транспорте, уходившем из Севастополя с отрядом морской пехоты, капитан первого ранга Соболев прибывает в осажденный город. Он сразу окунается в родную стихию — спешит к морякам-черноморцам, участникам схваток с врагом на одесских рубежах. По горячим следам событий шлет в Москву очерки, корреспонденции. Его высокую, статную фигуру видели в блиндажах и окопах, у артиллеристов и разведчиков, на местах высадки десантов и у морских пехотинцев. Страницы дневника заполнялись все новыми и новыми записями, которые давали темы для фронтовых рассказов и очерков, таких как «Черная туча», «Соловей», «Батальон четверых», «Разведчик Татьян» и других. Позже они вошли в книгу писателя «Морская душа».

После Одессы Леонид Соболев около двух месяцев пробыл в «раскаленном» Севастополе, где ни на день не утихали бои. Боевые дела моряков-черноморцев вызвали к жизни поистине неумирающие слова писателя о «морской душе»— краснофлотской тельняшке, сине-белые полоски которой стали символом стойкости и мужества советских моряков. «Морская душа— это решительность, находчивость, упрямая отвага и непоколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу... Морская душа — это огромная любовь к жизни... Морская душа — это стремление к победе...»

Вот об этих людях с «морской душой» и писал Леонид Соболев в сражающихся Одессе и Севастополе. И каждый его рассказ или очерк — это отражение гигантских проявлений героизма советских моряков, ставших для них повседневным бытом, естественной нормой поведения. Книга «Морская душа», в которой прослеживается, по сути, вся славная история советского Военно-Морского Флота, стала важным этапом в творческом развитии писателя, она приобрела широкую популярность еще в годы войны. Ее внутренний пафос и высокий накал звали советских людей на борьбу с ненавистным врагом. В 1943 году, вскоре после выхода в свет, книга была удостоена Государственной премии. Леонид Соболев отдал премию в фонд обороны страны. По воле писателя на эти средства был построен катер под названием «Морская душа», переданный дивизиону сторожевых катеров Черноморского флота, базировавшемуся на кавказском побережье, в Геленджике.

Вскоре писатель сам приезжает к обветренным и обстрелянным катерникам, чтобы «вжиться» в новую тему — из первых уст черпать материал для задуманной повести «Зеленый луч», в которой он решил показать рождение профессионального моряка — командира флота.

Повесть «Зеленый луч» является как бы естественным продолжением книги «Морская душа», ее апофеозом. Если в «Морской душе» преобладают короткие рассказы, запечатлевшие какой-то яркий эпизод из биографии героя, то в повести «Зеленый луч» писатель идет по пути глубокого исследования характера человека с «морской

душой», раскрытия этого характера во взаимосвязях с окружающим миром.

В повести рассказывается о том, как холодной ночью от кавказского берега в сторону Крыма отошел небольшой катер, чтобы в глубоком тылу врага высадить группу разведчиков. Шлюпку-шестерку с бойцами повели к берегу боцман Хазов и рулевой Артюшин. Разведчики успешно высажены, осталось лишь морякам вернуться на катер. Сильное морское течение грозило отнести шлюпку далеко в сторону. Перед моряками встал вопрос: как вернуться на катер, чтобы доложить о выполнении задачи и дать возможность вовремя уйти— завтра он должен вновь прибыть на это место, чтобы принять разведчиков на свой борт. Моряки решают: «Поплывем!» И вот два смельчака, затопив шлюпку и спрятав оружие, вошли в ледяную воду. В миле от берега их ждал родной катер. Напрягая последние силы, помогая друг другу, продрогшие моряки упрямо плыли во тьму, пока не увидели спасительный «зеленый луч» своего корабля.

Такова внешняя военно-приключенческая канва повести. Но этим не исчерпывается ее художественная глубина. Перед читателем предстают жизнь и боевые дела многих героев произведения — офицеров и матросов, описанных с покоряющей жизненной правдивостью. Особой притягательной силой и обаянием обладает центральный герой повести — молодой командир корабля Алексей Решетников. Он переживает ту чудесную пору романтической приподнятости, когда чувства предельно обострены и каждый поступок рождает сознание личной ответственности за свой корабль, за людей его экипажа, многие из которых старше его возрастом и боевым опытом. Ему, лейтенанту Решетникову, впервые получившему в командование боевой корабль, надо сделать все от него зависящее, чтобы завоевать доверие команды, утвердить свой авторитет, тем более что предстоит ответственный поход.

Писатель рисует нам Решетникова не только на мостике корабля. Мы с живейшим интересом следим за тем, как складывается характер героя — «живой, общительный», начиная с его детства и юности, как зарождалось и крепло в нем чувство любви к морской профессии, какими путями он, молодой военачальник, постигает истину, что на доверенном ему корабле каждый член экипажа — личность, имеющая свой характер, свои привычки и склонности, что никто другой, а только он сам должен объединить все эти человеческие качества в единый монолитный сплав, именуемый командой корабля.

Большая эмоциональная нагрузка ложится на образ боцмана Хазова — потомственного моряка, беззаветно преданного флоту и его славным традициям. Коммунист Никита Петрович Хазов давно плавает на Черном море, до тонкостей знает корабельную службу. Он по-отечески готов помочь своему молодому командиру и дельным советом, и дружеской поддержкой. «Чем ближе узнавал его Решетников, тем чаще думал о том, что, конечно, из всех, кого он видел вокруг себя, Никита Петрович больше всего подходит к понятию «друг», несмотря на большую разницу в годах и на то, что подчинен ему по службе, хотя по справедливости должно было быть наоборот. Только настоящий друг мог так бережно и заботливо поддержать его на первых, трудных порах командования кораблем».

Добрые отношения между лейтенантом Решетниковым и старшиной первой статьи Хазовым цементируют атмосферу на небольшом корабле, где команда состоит всего из двадцати человек. Когда надо было решить, кого послать во главе шлюпки-шестерки, отправляю-

щейся с разведчиками, Решетников, не колеблясь, назначает на этот опасный переход боцмана Хазова, которому доверяет, как самому себе.

Высокое художественное мастерство Леонида Соболева проявилось в лепке характеров других героев повести, таких как командир дивизиона катерников Владыкин — умный, волевой офицер, умеющий тонко разбираться в людях, майор Луников — начальник разведгруппы, боевой офицер, понимающий всю глубину ответственности за исход возложенной на него миссии, рулевой старшина Артюшин — весельчак, «насмешник и зубоскал», под тельняшкой которого бьется мужественное сердце; именно ему предстоит разделить с боцманом Хазовым все трудности операции. Запоминаются и другие персонажи повести — радист Юрка Сизов, кок Жадан и другие.

Отличительной чертой самобытного таланта Леонида Соболева является то, что он почти в каждое свое произведение вносит публицистический элемент, поэзию слитности изображаемого с напряженным ритмом окружающей жизни. Вспомним для примера хотя бы описание морского пейзажа в «Зеленом луче», когда лейтенант Решетников, стоя на мостике корабля, любуется закатом над безбрежьем моря. Сперва он «просто рассматривал закат, удивляясь, как это он не заметил раньше всей его красоты». Но вскоре им овладело чувство, «которое росло в нем, заставляя невольно улыбаться, и которому трудно подыскать название. Может быть, это было просто счастьем». И тут же писатель, как бы одергивая сам себя, вкладывает в мысли героя слова: «Что можно говорить о счастье на этом катере, который идет в пустынном военном море, где смерть поджидает в каждой волне и каждой тучке, когда с каждым пройденным им кабельтовым бомба, снаряд или пуля уносят в разных местах земного шара, по крайней мере, десять человеческих жизней, когда с каждой каплей бензина, врывающейся в карбюраторы его моторов, падает где-то в мире скорбная человеческая слеза — на письмо, на пожарище родного дома, на корку хлеба, к которой тянется голодный ребенок? Да и существует ли еще на каком-нибудь человеческом языке это заветное слово, самое звучание которого радует душу?... Полно! Нет его в мире, где страшная сила войны выпущена на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит и разрушает».

Так безжалостно врывается в повествование ощущение того страшного, губительного, что происходит в мире, того бесчеловечного, что тревожило чуткую душу писателя-гуманиста. Недаром он позже, по ходу сюжета, вкладывает в рассуждения Решетникова мысль о том, что, несмотря на невосполнимые жертвы в этой войне, надо жить и бороться, чтобы впредь не давать войне истреблять людей. «Надо жить, чтобы... удавить эту войну и не дать выскочить на волю новой. Другого дела в жизни нет», — решает для себя Решетников.

Высадка разведчиков в тыл врага, описанная в повести «Зеленый луч», как и другие подобные операции, была предвестником того большого наступления, которое развернулось на юге страны осенью 1943 года и весной 1944 года.

Советская армия и флот изгоняли оккупантов с родной земли. Военный корреспондент Соболев устремляется вслед за войсками, вслед за своими героями. По его очеркам, собранным в книге «Дорогами побед», можно проследить, где он побывал в те победные дни: Одесса и Крым, Констанца и Бухарест, Берлин и Триест... Порты на

Черном море и Адриатике, на Дунае... Книга «Дорогами побед» полна торжественной патетики и скорби, ликования и печали, размышлений и сопоставлений, которые дают ясное представление, какой ценой давался каждый шаг нашего приближения к победе над немецко-фашистскими завоевателями. Душа писателя наполнялась гордостью от сознания, что советский солдат и матрос, ступивший на чужую территорию, выполняет гуманистическую миссию — он несет на своих знаменах свободу и мир народам порабощенной Европы. Об этом он писал неустанно, в любой обстановке, не щадя сил.

Леонид Соболев был человеком высокого трудолюбия. Он горел жаждой активного вторжения в жизнь, не мыслил своего писательского труда без общественной деятельности. Его избрали членом Президиума Верховного Совета СССР, членом Советского комитета защиты мира; в течение двенадцати лет он был председателем правления Союза писателей Российской Федерации; в 1968 году писатель получил звание Героя Социалистического Труда с вручением третьего ордена Ленина.

Книги Леонида Соболева — это целый мир страстей, буйства красок, мир богатых душой человеческих характеров. Книги писателя — это живая летопись советского Военно-Морского Флота, увековечивание героических деяний людей с «морской душой», бесстрашно ковавших нашу великую Победу в суровую годину Великой Отечественной войны. Они навсегда останутся в сокровищнице советской литературы нетускнеющими художественными жемчужинами.

Павел Дегтярев

Литературно-художественное издание

Морская библиотека

Книга 43

Леонид Сергеевич Соболев

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Повесть

Редактор Т. В. МЕЛЬНИКОВА
Художественный редактор Л. Г. МЕДВЕДЕВА
Технический редактор Р. Н. КУЧИНСКАЯ
Корректоры О. В. ГОЛЯК, Н. И. КРЫЛОВА

Информ. бланк № 1864

Сдано в набор 02.10.86. Подписано к печати 16.12.86. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. На текст бумага типографская № 2, на вкладку — офсетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,82+усл. печ. л. вкл. 0,42. Усл. кр.-отт. 11,28. Уч.-изд. л. 10,54+уч.-изд. л. вкл. 0,69. Тираж 100 000 экз. Зак. 6-416. Цена 95 к.

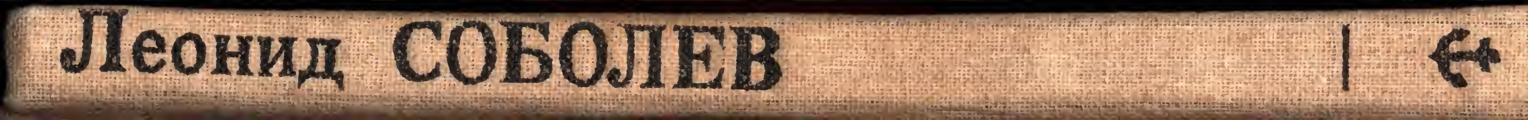
Издательство «Маяк», Одесса-1, 270001, ул. Жуковского, 14

Книжная фабрика имени М. В. Фрунзе, 310057, Харьков-57, ул. Донец-Захаржевского, 6/8.





95 к.


Леонид СОБОЛЕВ
I